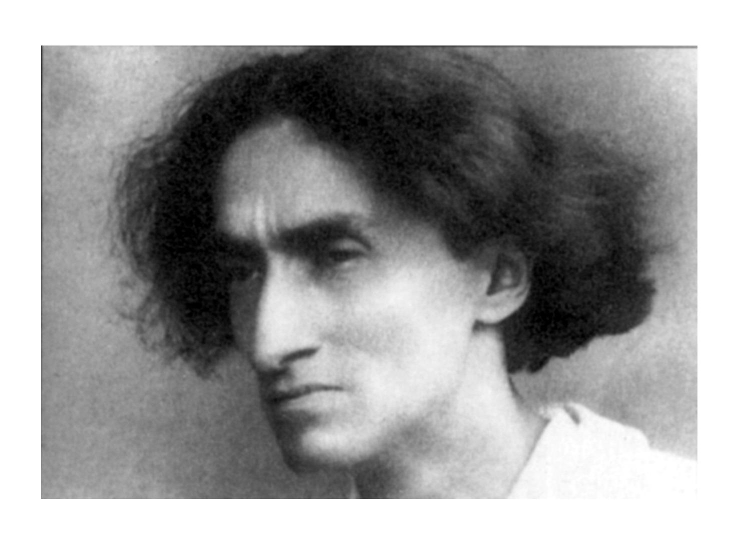




МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

ЕВГЕНИЙ ЛАНН

HEROÏCA

Стихотворения



Водолей
Москва – 2010

ББК 84Р7-5
Л22

Издание подготовлено при участии Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» (г. Москва)

Составление, подготовка текста и послесловие
К. Добромильского

ISBN 978–5–91763–047–2

ЕВГЕНИЮ ЛАННУ

Эроика!

Какое прекрасное имя для книги стихов, и как я завидую тому, что не мне оно пришло в голову...

Но Ваша книга достойна его.

Начну с «Мироощущения поэта», написанного с тою сдержанной гордостью, с которой должны писаться прозаические вступления к книгам стихов.

В них жест перчатки, брошенной на арену: самоутверждение и вызов.

Принимаю и то и другое. Вижу поэта с длинными волосами и с Паганиниевым ломаным профилем, но не со смычком, а с рапирой в руке, острием которой он чертит на песке знаки своих дерзких утверждений, и мне кажется, я слышу ее стальной свист, когда, жестом подчеркивая смысл, он проводит ею грань между собой и миром: ни шагу далее!

Таким я чувствую Вас, когда Вы утверждаете технику стиха – «путем познания» и «что» ставите для поэзии выше, чем «как».

Но здесь мне хочется остановить Вашу руку и сказать:

– Конечно, «что» важнее, чем «как», но есть нечто, покрывающее и то и другое, – это «КТО».

В наши дни поэзия должна перестать быть кабинетной риторикой, а, вернувшись к своему греческому корню, стать *деланием*... Творчество становится *актом.* Раскрывая новую книгу и взвешивая на ладони каждое слово, уже судишь его не со

стороны эстетики и смысла, а лишь: сколько в нем волевого заряда?

Война и ее шлейф, сметя все башни из слоновой кости, выложенные изнутри книгами, поставила перед поэтом вопрос о праве на собственное бытие вне каких бы то ни было общественных сгустков, ибо те из нас, которые сочли возможным укрыться за готовыми гражданскими расписаниями, этим самым вычеркнули себя из числа поэтов.

Лишь тот имеет право на бытие, кто, не подымая ходового оружия сегодняшнего дня, в самом себе найдет орфическую мелодию для заклинания страстных чудовищ действительности.

Столь популярное среди наших собратьев «уловление ритма современности» есть не более как один из видов приспособления, пассивная отдача себя течению времени, уносящему *вспять*, в то время как творческий ритм – это мерное движение весел, выгребающих *против* «Реки времен».

Поэзия наших дней должна разреза́ть современность, и ритм ее определяется напряженностью гребли.

Осмысливая бессмыслицу текущего, поэт должен собою вносить в нее ясный чертеж трагедии:

Зритель захвачен борьбой – ты не актер и не зритель:
Ты соучастник судьбы, вскрывающий замысел драмы!

Поэтому поэту суждена роль Кассандры: пленной пророчицы, которая видит гибель дома, в который

ее привели со связанными руками, и словам которой не верит никто.

Но тут я замечаю, что, начиная возражать Вам, я иными путями и иными образами развиваю Ваши же положения и что имя «ЭРОИКА» на фронтоне Вашей книги заключает в себе всё, что мог бы сказать я.

Ваши стихи: они импонируют.

В них есть напряженность и воля, соответствующие имени книги.

Они напоминают мне не то произведения турецких каллиграфов, располагающих сложным орнаментом арабские буквы, составляющие имя Аллаха, не то резные печати, где на малом пространстве твердой рукой сложно стиснуты знаки, значение которых глубоко, но сочетание неясно: четкость формы противупоставлена намеренной иррациональности сопоставлений.

Иногда же мне казалось, что Вы чеканите золотые оклады, щедро осыпанные драгоценностями, но когда вглядишься в темноту под венчиком, то оттуда глядит пустота, в которой скорее рассмотришь мерцание звезд, чем очертание лика.

Поговорим же о ясности.

Вы цитируете прекрасные слова Врубеля о заказе...

Да, заказ современников священен и должен быть выполнен честно. Откуда это долженствование?

Для того чтобы художественное произведение получило реальное бытие, мало творческого акта – необходим акт *понимания.*

Осеменение и зачатие в искусстве могут быть разделены десятками лет. Но непонятое произведение останется только возможностью, которая рано или поздно осуществится в чьем-либо понимании. В конечном счете не СЛОВО, а понимание его есть тот материал, над которым работает поэт.

Критика же должна быть чревом – эталоном, примерно беременеющим от всех творцов, какой она, в сущности, и бывает в свои органические моменты («Да, понимаете ли вы сами?..» – Белинский – Достоевскому).

Но поэты (за исключением драматургов, которых учит час зачатия, назначаемый заранее) обычно не ведают, из какого материала они творят и что из созданного ими *дойдет* до понимания.

А как же тогда: «Ты царь: живи один»?

Акт понимания отнюдь не требует коллективности. Критерий «в с е » совершенно произволен там, где достаточно одного. А этим одним в крайнем случае может быть и сам поэт: «Ты сам доволен ли, взыскательный художник?»

Но этого гермафродитизма могут быть лишены совершенно очень большие лирики (Бальмонт, Блок), поэтическая судьба которых в этом случае вполне подчинена прихоти понимания, то есть успеха.

Как ни велико в искусстве значение волевого заряда, который в конце концов может форсировать самое злостное непонимание, но внешним препятствием всегда служит неясность, независимо от того, кто в ней виноват.

Вопрос о ясности – это вопрос о готовых ходах речи – о «клише».

Читатель понимает только *клише*. Поэт стремится преодолеть все клише.

Малларме хвастался, что «лавочник, читая написанную им страницу, встретит всё те же слова, что он читал утром в своем газетном листке, но не поймет ни одного из них». Но полным преодолением клише Малларме достигал того, что не только лавочник, но и сами посвященные отказывались иногда найти ключ загадки.

Не следует забывать, что каждое клише первоначально было гениальным новым образом и что каждый новый образ, раз только он будет понят и принят, станет таким же клише. Клише – это кирпичи понимания, без которых не выведешь ни одного свода. Творческий такт не в количестве и не в новизне созданных образов и синтетических ходов, а в самоограничении и в умении так их расположить, чтобы не задавать пониманию неразрешимых задач со многими неизвестными. Загадыванье хитрых загадок – благородная забава, но отнюдь не цель искусства.

Полагаю, что темнота и ясность – это естественные уклоны каждого творческого пути соответственно возрасту: юность любит трудные работы над драгоценными материалами, зрелый возраст ищет конструктивности и простоты.

Тот, кто в молодости чеканил оклады, переступив известный порог, будет любовно писать киноварью,

санкирью и плавями строгие и ясные иконы и никогда не позволит их одевать драгоценными ризами.

Из этого экскурса Вы совершенно правильно можете усмотреть, что я ставлю Вам в вину злоупотребление смысловыми раккурси и клишевой антисептикой.

Не скрою, что в Вашей игре звуковыми фонемами скрыто для меня большое очарование.

Так бывает, когда берешь в руки подлинный текст произведения, язык которого знаешь только отдаленно: «Божественную Комедию», «Лузиаду»... Память хранит общую нить содержания, а знакомые корни языка служат путеводительными вехами. В незнакомых полнозвучиях стиха рисуются только монументальные линии архитектуры, а все детали, подробности и орнаменты скрадываются. Создается звуковая мгла, на фоне которой четко рисуются корневые видения языка, огневеющие расширенным довременным смыслом.

Вы достигаете таких же эффектов в пределах моего собственного языка.

Ваша вольная воля ставить себе задачу того или иного «как», но мне в Вашей книге ценнее всего «*кто*», и я приветствую ее как целостный и прекрасный волевой акт, близкий мне по духу.

Максимилиан Волошин

20/XII 1924
Коктебель

HEROÏCA
(МИРООЩУЩЕНИЕ ПОЭТА)

Десять лет упражнений – и поэт овладеет техникой стиха. Он научится варьировать ритм, соподчиняя его с тематическим смыслом фразы; поймет простую истину, еще недостаточно, однако, понятую: неоправданность корсета строгого стиха; примет один путь – свободный стих; узнает его трудность и не смутится видимой его доступностью и популярностью: отличит у малограмотного его роль фигового листка сей самой малограмотности; будет искать, и – тщетно, у современных «мастеров» свободного стиха ритмического и тематического соответствия – этой первой заповеди «настоящего» стиха; всё свое внимание, в области стихотворной ритмики, сосредоточит на страшных поэту переходах от фразы к фразе и избегнет провалов – тех ритмических зияний, какие изощренный его слух откроет и под маской благополучности; воспитает в себе этот слух и станет терзаться фальшью, как терзается музыкант, страдающий физически от разыгрываемых перстами девиц классических гамм; и узнает зависть, сравнив хорошую школу дочери Мнемозины и беспорядочное воспитание двух своих покровительниц, в свое время не обучаемых грамоте ритма – ритма стихотворного.

Еще научится он: видеть в слове не материал поэзии – нечто иное и много больше: обернется слово поэмой, сложенной не стихами, а фонемами,

построенной тем же отмером и отвесом, по тому же плану и закону; некий фокус, найденный инстинктом конденсации образов, сведенных с предельной степенью экономии в лаконичную формулу; ощутит трепещущий в каждом слове образ, коралловым стволом ответвивший в пределах тех же фонем целую образную систему и задавленный нашей беспамятностью, полным отсутствием чутья слова, нашим равнодушием, с каким мы миримся со словом – ходячей обменной монетой, уже лишенной тонкого рельефа свежей чеканки, смытого потоком десятилетий, если не веков... Мудро и умело, направляемый художественным тактом, поэт продолбит облекшую скорлупу и выведет пленный образ – «знак знака», очистит от наслоившихся суффикаций и флексикаций острым ланцетом чутья, восхитившего у науки ее прозрения и отказавшегося оперировать там, где на восстановление сего знака, на воздействие его запаленной магической силой – нет и не может быть надежды; поэт уловит впечатляемость первозданных стихий слова, – звуков, – чье чарование, обоснованное законом психологических correspondances, держало в плену всех вкусивших плоти живого слова – от мистагога бл. Августина через <Г. В.> Лейбница, В. Гумбольдта, Лотце до немногих поэтов наших дней; исследовав инструментовку и оркестровку стиха после того, как этот последний уже выплавился, – он найдет если и не научную закономерность в пользовании фонемами, то, во всяком случае, нечто такое, что не может быть случайным и чему грядущее, вопреки

осторожному Потебне, быть может, уже готовит научную формулировку.

И, наконец, в длительном процессе учебы поэту раскроется смысл едва ли не труднейшей из основных технических задач – задачи композиционной. И вместе с раскрытием наметится и ее разрешение: верховным законом компановки поэт примет – нахождение тех «твердых пунктов», о каких учил Гокусаи, – того смыслового ядра подлежащей «темы», вокруг которого всё – лишь аксессуары, предметное и ненужное. Упорным и длительным вживанием в тему вылущив эти «центры», поэт охватит явление только такими линиями, какие синтетически вберут в себя одно лишь суггестивное, необходимое для выявления самого существа предлежащей темы, и только: прозреть это «существо» в сплетении субъективных подходов будет дано актом глубокого и полного погружения в предметный хаос, и под знаком принципиального отрицания импрессионизма развернется труд овладения этим «существом»; отсюда же и будет дан метод компоновки: цепко держать глазом эти центры, жестоко пресекая попытки идти слишком знакомым путем, – растекаясь мыслью (и словом); сводить многообразие воплощаемого в немногие образные группы, расположенные с относительной щедростью только вокруг найденных твердых пунктов и построяемых не по застывшим канонам традиционного описания, но в плане искушенного опытным огнем (много шире, чем в пределах одной только поэзии) принципа перемежающихся раздражений

(Готшаль) или иначе – декомпозиции непрерывного. В непрерывном описании (либо повествовании) даны факторы двух видов: и случайные, несущественные и суггестивные, определяющие; мысль, как и художественное сознание, обтекает тему, проявляя на творческом продукте каждый из знаков, тему отмечающих; и покорное внимание воспринимающего, протекая тем же руслом, отпечатлевает на себе много, много ненужных деталей; ненужны они, ибо ни в какой мере не стимулируют нас к пробуждению в жизнь застылого в технических формах продукта чужого творчества – к творчеству самостоятельному; эти досадные мелочи в теме только разбалтывают густое вино нашего воображения (в акте восприятия). И отсюда канон: выкорчевать из темы предметные, индивидуально определяющие, столь милые неискушенному сердцу моменты; они бывают двух родов: данные в описании и раскрываемые повествованием; первые, все эти «характерные» для объекта черты и черточки, выпрямляющие перед нами индивидуально очерченный предмет в исторической, географической и скрупулезно-бытовой «обстановке» (Наполеон и «серый походный сюртук» и «солнце Аустерлица» [– непременно «солнце Аустерлица»]; Роланд и Дурандаль; Саванаролла и Флоренция кватроченто; и пр. и пр.); вторые – мерное и последовательное развертывание темы через всё – и то, что важно, и то, что не нужно, заботливая охрана читателя от всех неожиданностей, какие может ему уготовить выпадение повествовательных скреп (ни-ни), даже

если эти скрепы – только суесловие, даже если выпадение их насущно-необходимо и обязательно для художественной совести.

Принцип опускания, hiatus'а этих моментов – основа конструктивной проблемы – декомпозиции непрерывного. Сила воздействия раздражений перемежающихся значительно превосходит таковую же непрерывных. Этот закон опытных наук сугубо действенен в поэтике. И пропуск незначащих звеньев, зияние предметных знаков, провалы, крытые мостами нашего воображения – таков метод разрешения композиционной тайны – третьей задачи поэтовой техники.

Но сколь этого недостаточно.

2

Больше мужества. Ребром поставим вопрос о наших симпатиях: формальная эстетика или эстетика содержания? Пусть на страницы учебников просочилось опошленное уже положение о единстве содержания и формы; педагогическое значение его велико, хотя бы потому, что оно в корне пресекает возможность примитивного и наивного разрешения проблемы: «что есть содержание?» и «каково влияние содержания на значимость эстетического объекта?» Пропедевтическое значение этого положения неоспоримо, но... в нем дано и его ограничение. Воспитав вкус, искусив художественный такт и чутье, мы должны вплотную подвести окрепшего ученика

к наличию в каждом эстетическом объекте: «Что» и «Как». Предварительной прививкой благодетельной формулы о неделимости этих моментов мы обезопасим его от внесения в оценку внеэстетических критериев; на анализе «Что» и «Как» ему явственно вскроется необходимость проделанной прививки и он простит ее нам. Пришли и для нас сроки: то, что обстало нас, властно понуждает отказаться от недомолвок. Не время затушевывать острые углы вопроса: «что есть более важное – “что” или “как”?» Разве неточно – теоретически принимая такое деление и обучая ему искушенного ученика, мы не вкусили живой его плоти, мы не знаем, не придумали всех истекающих из сего выводов? Но нечего удивляться: эти выводы так многозначительны, столь вещи они для нас, что едва ли не оправдана наша осторожность. И, однако – пришла пора преодоления осторожности. И ясно и раздельно следует возгласить: техника нужна, она, быть может, нужнее, чем додумывает эстетический формалист, полагающий в ней значимость an und für sich[1]; нужнее – ибо ее завоевания облегчают нам пути восхождения к тем целям, которые вне поля зрения сторонников «Как»; но за сим «Как», за многотрудной, радостной формой овладения материалом скрыто большое, много большее – «Что».

Авторам передовых учебников по поэтике, тем, кто станет изрекать знакомые положения о единстве содержания и формы, о слиянии «Что» и «Как», кто с энтузиазмом уличит нас в малограмотности – должно

[1] Саму по себе (*нем.*). – Здесь и далее примечания составителя.

ответить: в чувственном восприятии, в воззрении неотделима форма от содержания, и то и другое – лишь чувственные качества, которые изображают «Что», заключая его в «Как», и рассматриваются то по отвлечении от содержания – изображенного, то от заключающего – формы. Сказанным отмахнемся, но продолжим: принципиальная гетерогенность этих двух факторов столь же очевидна, сколь ныне хрестоматийно их слияние в подлежащем исследованию объекте; их теоретическая неслиянность опознана, и навсегда, в процессе расчленения синтеза сего объекта; рассматривая содержание и форму (для нас представляется излишним более точный анализ, углубление которого поведет нас к отрицанию однозначности понятия «формы» и «Как»; в наших целях достаточна такая идентификация), исследуя, повторяем, содержание и форму – «Что» и «Как», только как функции одних и тех же чувственных качеств – мы придем к признанию их разнозначности с такой же неизбежностью, с какой пришли бы, исходя из забытых, изжитых предпосылок об отделимости этих факторов в чувственном восприятии.

Кончим экскурсы; в них нужда лишь постольку, чтобы предотвратить возможность недоразумения. Нам же, вместе с теоретической бесспорностью разделения «Как» и «Что», во весь рост предстоит проблема, разрешить которую мы должны, ибо к тому зовет нас наша совесть.

Эта проблема дана выше: может ли нас удовлетворить «как» и не задано ли нам некое «что»?

3

Если вчитаться и вслушаться в написанное и сказанное за истекшие семь лет – одно станет очевидным: человечество слишком дешево заплатило за свою вину. Миллионы жизней... Но тысяча миллионов продолжает жить... Десятки сметенных городов... Но сколько сотен, как и до четырнадцатого года, бетонными глыбами оберегают нас от сквозняков площадей. А мы по-прежнему храним свой уклад, и, выходя в сиверкий день на улицу, застегиваем пуговицы пальто. Какую горстку безумных мы выделили от щедрот своих? Только горстку. Значит – то, что несется изо всех углов, с каждого печатного листа, эти страшные слова к а т а с т р о ф а сознания – только слова, слова без плоти и без боли? Задержимся на мгновение в беге каждого дня, наполним их смыслом живым, примем их, в себя примем и... разве не выскочим, простоволосые, на камни мостовой, не станем ногтями корчевать эти камни? Когда взрослый, в сознании своего превосходства, лжет ребенку, и последний знает это – можем ли мы выдержать испытующий и скорбный взгляд детских глаз? И, пародируя ребенка, мы должны та кже испытующе остановиться на себе, когда в диалектическом восторге изрекаем о катастрофе нашего сознания. Недавно умерший поэт напоминает нам: «дурно пахнут мертвые слова»; эстетическое чутье, что ли, должно нас оберечь от жонглирования мертвыми словами.

Другой поэт, – Гейне, – когда-то бросил: «Мир раскололся надвое, и трещина прошла по сердцу поэта». Смысл этой фигуры нам хорошо известен; ныне она неприменима в нашем обиходе: если уместно вообще привлечение аналогичной фигуры – сердце поэта расколото не надвое; не раздвоенность нашего «я», не разноязычие активного и дискурсивного (и эмоционального) факторов, вернее, не только растекание сознания в два плана, обегая которые, проходя сквозь тезу и антитезу, сознание не распадается, ибо может быть прибито (хотя бы дорогой ценой) к некоему синтезу – снова обрести свою цельность, повторяем – не о раздвоенности сознания ныне слышим повсюду, вернее – не только о раздвоенности. Не о ней на устах; чаще и чаще раздается грозное: распад личности; трещина просочилась вглубь и разветвилась вширь, наше сердце раскололось, как и мир, на маленькие, уже неживые глыбки; если это сердце поэтово – на художественные изразцы; в этих изразцах еще бьется подглазурная краска, нежная окраска крови, но кровь уже мертва, и скоро, скоро навсегда сгаснут изразцы.

Но и эта иная формулировка отмеченного memento – распад личности, как современное состояние нашего «культурного» сознания – та же дурно пахнущая фразеология. Только суесловие, имеющее оправдание разве в тяге нашей к эффектным и звонким формулам, и не больше.

Что вынуждает нас признать этот горький порок своего празднословия, когда речь идет о диагнозе и

оценке современного сознания? Очередной ли это трюк самобичевания, минутная передышка, дающая нам оглядеться, покаяться и... грешить дальше? На сей раз, к счастью, это не так. Те, кто суесловят, не замечая и веруя в эту формулу крепко (едва ли можно сомневаться, конечно, что она до конца ими не продумана, ибо... в сиверкий день... и т. д.), впадают в вопиющую, непростительную ошибку, греша вдвойне – пороком и слепотой. Как примагниченный белой чертой глаз петуха тупо следует черте, – вне поля зрения тех, кто толкует о распаде личности, неоценимое *нечто*, дарованное нам в трудные дни истекшего семилетия, обретенное нами в те страшные минуты, когда замирающий пульс натруженного сердца пересчитывал разрывы бесчисленных ядер европейской бойни, когда остекленевшие зрачки уже не воспринимали картин террора, перетряхивали мы отлежавшийся внутри нас за душные годы предгрозья мусор и, освещенные тихой радостью, пережигали его в легкую золу – память о своем ослеплении и неправой жизни, – всего этого не знают фразеологи, не видят они и вставшего перед нами нечто. Имя ему – *священная серьезность* Гёте, тот *высокий строй* наш, к обретению которого мы могли прийти, только пройдя сквозь эти годы труда и безумия, сквозь эти часы усталости и смертной тоски. С Карпат и Кавказа, с белорусских пущ, Марны и По, с орловских степей и предкрымских озер, из глубоких решетчатых казематов, где, не умолкая, щелкали наганы двух противоборствующих станов – к нам и на

нас направлялись в упор одни и те же – ч е л о в е ч е с к и е стоны, одна и та же ч е л о в е ч е с к а я кровь долгие месяцы поила сытую, слишком сытую почву, и один недоуменный, сопряженный миллионами разбитых криков, вопрос вырастал от земли: з а ч т о ? А мы, тоже страшные в своем испуге и омертвении, прислушивались и приглядывались к тому, что по каким-то, не нашим, нотам разыгрывалось вокруг, и не могли ни понять, ни улыбаться.

Да, мы не могли понять, как не понимаем и сейчас, и не могли, как и сейчас не можем, ответить на вопрос – з а ч т о , ибо этот вопрос был и нашим вопросом, но одно мы крепко поняли, поняли на всю жизнь. Нам дано было всем существом нашим, вплотную и воочию увидеть себя самих – слабеньких, жалких и ничтожных в руках таких сил, какие мы назовем н а ш и м и только тогда, когда уверуем в них навсегда. Нет, мы всё еще не стали верующими, мы лишь у порога обожжены излучаемым светом, мы лишь поняли неизбежность о д н о г о подхода к тому, чем живем мы, о д н о й оценки событий и исторического процесса, одного, е д и н с т в е н н о г о выхода в будущее человека. Мы еще не верующие; конечно, не только в формах догматических, не о них, разумеется, может речь идти, но мы неверующие еще и в плане адогматическом: кто знает – укрепится ли в нас уверенность в то, что о д н а и т а ж е сила правит и в нас и вне нас, а ведь в этой уверенности существо, самое плоть, веры. И не о фактической неизбежности для будущего человека о д н о г о подхода к окружающему

нас – можно и должно говорить, а лишь о стремлении нашем, об упоре нашем в этот единственный подход, о нашем сознании необходимости *иного* внутреннего нашего строя, непохожего на знакомый нам до четырнадцатого года; должно говорить, если быть еще точнее, быть может, и о том, что мы пока слабы в нашей уверенности в эти *вне нас* правящие силы, еще на грани между старым мироощущением и мироощущением новым, но и в такой, более точной, формулировке уже дана и вскрывается *тягота* изживаемого нашего прошлого и *тяга* в зарожденное будущее. Под знаком *священной* серьезности стремит нас эта тяга, форма, ее облекающая, – высокий строй. Мы разучились смеяться. Отвыкли. Быть может, надолго. Смех стягивает гримасой лицо, нехорошая это гримаса. Много в ней от недоумения, того недоумения, каким отвечает на шепот глухой, и сколько смешного прошлым нам – нам нынешним только шепот. И много в ней от испуга, прошедшего сквозь нас в минувшие годы и отложившегося в каждой новой нашей морщине, в каждой борозде. Потому и смех наш ненастоящий.

Но неумение смеяться лишь сопутствует «серьезности священной», аккомпанирует лишь ее в нас раскрытию. Не в нем дан смысл и не к нему сводима великолепная формула Гёте, для которого оно могло быть и необязательно. Живая плоть этой формулы в ином – в том, что заново, по незнакомому для нас прошлому, звучит другая формула, столь обратная первой. В разных редакциях, но единая по существу,

она была слишком популярна. Одно разночтение гласит: жизнь – игра, в другом – она дана Протагором, третье – ныне вязнет в ушах и не сходит у нас со страниц печатного слова и т. д. и т. д. И если раньше мы могли быть терпимы ко всем этим разночтениям, если в прошлом – эстетствуя, либо играя в снобов мысли, сами подчас были повинны в их исповедании – закрыто для нас оно теперь; не нужно ставить в вину нам эти грехи прошлого; мудрее – принять на искус и радоваться вместе с нами просветлению. Ни Ларошфуко, ни Дьюи с Шиллером, ни философствующие социологи не мощны научить нас видеть в заданной нам жизни простенькую на четыре арифметических действия задачу, решение коей сводимо к магической и целебной протагоровской формуле. Как ощутима для нас теперь сложность этой задачи, как должны мы бояться этого популярного ключа к решению, предложенного великим искусителем человека и истекающего либо из снобизма нашего, либо из легкомыслия. И первый, и второе нами пройдены, и – безвозвратно. За снобизм – наша расплата в той неподготовленности, в том испуге, какими встретили мы четырнадцатый год, и в том нечеловеческом омертвлении, в каком пережили войну и террор; за легкомыслие расплачиваемся много дороже: ныне, когда так ясно нам, что возврата к прошлому нет – мы всё еще бредем шатко и оглядываемся боязливо. Но шатко или твердо, мы идем и не идти не можем; идем с непоколебимым сознанием смертельной опасности остановиться, тяготы не вынесши и искуса не вы-

держав; идем, зная, что для нас по-новому обернулась задача о смысле жизни, ранее разрешаемая нами в салонном вальсе на лощеном паркете maximes и парадоксов, либо с небрежением «философов хорошего научного тона», снисходящих до легкой полемики с юнцами и наивными людьми, поднимающими самый вопрос о сем смысле, – ныне же данная нам «в серьез», в «священный серьез».

Неточным и просто неверным будет утверждение, что на наших глазах, внутри нас, происходит переоценка ценностей, несмотря на видимую соблазнительность такого диагноза. Всегда, извечно ценности были н а д н а м и, всегда они жили в нас; наш грех – в кощунственном забвении их в течение шести дней недели и в исповедании их только одним днем – «днем субботним», в постоянном и систематическом удушении их своим легкомыслием и псевдонаучными кирпичами. Ныне – наш опыт проклевал затянувшую скорлупу, и только теперь мы вступаем в неведомый мир объективно значимых ценностей, только теперь полносмысленны для нас оценочные критерии, только теперь мы вправе строить какую бы то ни было ценностную систему.

И еще – ощутимо и внутренне-обязательно для нас одно: напруженными нитями, истекающими извне (не с высот ли горних?), мы, облеченные отныне «священной серьезностью», словно отрываемся от своего привычного строя каждого «сегодня»; этот строй мог быть нашим только тогда, когда скрыты были от нас недра нашего «я» и не звучали ритмы обставшего

мира; в долгие раздумья мы опустились внутрь себя; слушая, видя воочию и обмирая от нестерпимой боли, прожгли, настороженные, толщу, отделявшую нас от полотна, на котором титанические ошибки правящих миром сил чертили непонятные знаки; мы не прочли и не прочтем этих знаков, но довольно, слишком много, для нас того, что мы з н а е м о них.

Мы о них знаем. Ничто и никогда не заставит нас оторваться от знания того, что в н е н а с чьей-то волей предуказана и правится череда событий, чьей-то волей пылью рассыпаются великие культуры и перегнивают в чернозем великие народы. Снова, как и выше, должно упомянуть: не религиозность это еще – неощутимо еще для нас включение нас самих со всем нашим человеческим самомнением и гордостью в единодержавную мировую систему, неощутима еще внутри нас эта единая воля; но одно очевидно: мы должны, мы не можем не сжечь за собой корабли – прежний наш строй, питаемый и этой нашей самонадеянностью, и обожествлением своей «царственной» природы, и упором в одну, единую задачу – лучшее устроение, здесь на земле, своих «царственных» дел.

Неуклонно и неизбежно развивается одно: мы перенастраиваемся на иной, новый, в ы с о к и й с т р о й.

И встает в нем перед нами извечный вопрос отроков, глупцов и метафизиков – о нашей связи с мироправящими силами, вопрос как будто погребенный в крематории гарцующей т. наз. «научно-философской»

мысли и вновь рожденный фениксом из пепла в семилетнем внутреннем нашем опыте.

И встает в нас сознание того, что не всё в жизни нашей, в замкнутом круге сегодняшнего дня, значимо равноценно, что к ней, нашей жизни, должны быть приложимы такие критерии, какие из всего круга наших «дел» произведут отбор того, что п о д л и н н о н у ж н о , того, что задано нам как некий д о л г . Мы уже научились искать это «подлинно нужное» и этому не разучимся.

Нет, не нужно лишних горьких слов – о к а т а с т р о ф е с о з н а н и я и р а с п а д е л и ч н о с т и . Эти слова грешат против очевидности. Но этого мало: как и всякая формула, звенящая из всех углов, она мешает нам обрести некий покой, необходимый для углубления в себя сознания того высокого долга, какой ныне на нас лежит. Больше чем когдалибо мы ограждены от распада, больше чем когда бы то ни было мы вне опасности отдаться власти той силы, имя которой – внутренняя дезорганизованность. Мы не знали цельности; бесхребетники, мы, словно ковыль, гнулись под напором социальных волн и идеологических течений, а иные из нас и не выпрямлялись потом; и не могли мы знать цельности, ибо неведом нам был опыт, истекшие года дали его нам, даровали нам волю и силу сопротивления. Через боль мы организовались и далекие дозоры выставили в ограждение от покушений на этот дар, кровью оплаченный.

Говорить ли о катастрофе сознания? Если наше мироощущение – знаменья переживаемой катастрофы, – с радостью принимаем катастрофу, мы слишком долго ее ждали. Но не эти знаки открываются тем, кто вещает о катастрофе; совсем иное видится им – растерянность, подавленность наша, внутренний наш хаос, беспомощность обрести какой бы то ни было «строй», – то, что именуют они р а с п а д о м .

Мы же знаем другое: если и пали, погибли для нас некоторые, перегорев в опыте, – великий грех не видеть нашей радости, – тех, для которых, по словам[1] поэтессы,

Безумным табуном неслись года
Они зачтутся Богом за столетья.

и кто, пройдя сквозь эти столетья, ныне у порога трудного искуса.

Будущее вскроет – Пиррова ли это победа, как и то – многие ли сквозь искус пройдут.

4

Много и многими писалось о лирике, но слишком немногие пытались вскрыть смысл и значимость термина «субъективизм», лежащего, как согласны все почти писавшие, в основе лирического подхода, – метода своеобразного художественного мироощущения. Причина сего в том, конечно, что лирика главным образом исследовалась как ф о р м а воплощения

[1] Отсюда до конца фрагмента в машинописи помета: «пропустить!».

художественного замысла, но не как особого типа мироощущение или иначе – своего рода философская система поэта, философия живого поэтического опыта. Тогда как лирика первее всего – поэтова философия, и при забвении этого – многое в анализе своеобразия лирики, как формы воплощения, выпадало из поля зрения. Такое исследование лирического метода, как философского угла зрения поэта, еще ждет своего автора, который сумел бы приблизиться к разрешению этой проблемы, но некоторые вехи, кое-кем нащупываемые, могут быть намечены.

Сущность лирики – мир как представление субъективного идеализма. Эта гносеологическая формула отчетлива и недвусмысленна. На языке поэтов-лириков, гласящее у Бальмонта: «Майя. О, Майя. Лучистый обман», у Брюсова: «Пойми, пойми, все тайны в нас, в нас сумрак и рассвет», у Сологуба: «Я – бог таинственного мира, весь мир – в одних моих мечтах» – другое разночтение того же чистого фихтеанства. Нужно ли доказывать, что для лирика единственная реальность (опять-таки в онтологическом смысле) дана в «я», тогда как «не я» лишь окрашено иллюзией реальности полагающим его внутренним нашим миром. Нужно ли доказывать, что лирику ощутимы лишь законы сего мира, проецируемые им вовне, а в этом «не я» лирик и не ищет, не может искать, узла, ответвляющего в нас исходящие из него нити. Узел этот в «я», оно – это «я» – единственный объект внимания лирика, мир вовне – поскольку отложил внутри нас некие кислоты, дающие ту или

иную эмоциональную реакцию, и только как повод смены эмоций. Мир лирика – Intérieur, и только; всё окрашено тем цветом, какой дается этой реакцией и поскольку «я» извлекает материал для эмоциональной вспышки. Нерв лирики – эмоциональная вспышка, и цель лирики – эту вспышку вызвать, а как следствие предпосылок – жестокий самоанализ, ибо в нем дана возможность сделать материал горючим и запалить. И неслучайно – лирика говорит от лица «я», и неслучайно – все извечные проблемы решаются под углом зрения бытия или небытия «я», а смерть, как проблема, есть смерть и «я» и (значит) «не я». Религиозная лирика? В ней поэт через голову мира, да простится сия фигура, устанавливает связь с богом внутри нас непосредственно, не ища посредствующего звена вовне, не видя тех же божественных знаков, там отпечатленных, какие обретены им в «я». Лирик интимничает с Богом, закрываясь от мира своей благодетельной формулой, простодушно уверенный в полном подчинении ему этого призрачного «не я», постоянно обстающего фантома, ибо может ли быть речь о неподчинении, о восстании, когда мироправящая сила сосудом своих откровений избрала только одно, подлинно реальное «я».

Разве не лирикой, как мироощущением, порожден грех эгоцентризма; авторы новой «Альмагесты» только сделали вывод из посылки, не более; и разве не показательно, что и такая примитивная форма подлинно религиозного мироощущения, как пантеизм, навсегда за семью печатями для лирика. Уйдя в себя,

лирик там и остался. Нужна была великая встряска, и ею брошен клич: anywhere out of the lyrica[1]. Великая нам дана была встряска. Всеми нашими чувствами, всею сетью нервных покровов и рытвин набухшего от напряжения мозга мы глотали громы, вокруг нас гремевшие, молнии и ракеты, падающие из открывшегося нам мира, обжигая нас серными язвами. Заглотались иные из нас; мы, оставшиеся, отдав очистительные жертвы, возмездием за грехи минувшего прозрели. В этом гримаса истории: п р о з р е н и е за грехи. И на открывшихся глазах поэта произошло превращение, страшное и сказочное: фантомы его капризного духа, гордого своими прихотями, своей силой измышлять «не я» по своему плану, – обернулись во плоти подлинной реальностью. Пороховой дым заслезил глаза и этим, быть может, оберег их от вечной слепоты, ибо были и среди нас ослепшие от того, что слишком много они увидели; рыканье пушек заглушило стоны добиваемых, и спасен был этим слух художника; «я» наше под обвалом опрокинувшегося на него мира, смятенное, не расчленило его еще, в момент обвала, на отдельные шумы и пятна, из коих каждое несло смерть; и этим ее избежало. Но и того, что дано было – довольно, слишком довольно, и встали перед поэтом люди и вещи, события и слова, подвиги и быт в такой осязаемой «бытийности», в какой доныне был им принят только Intérieur. И, против своей воли, ремнем на колесо машины, поэт втягивается в этот объективный механизм сущего.

[1] Куда угодно, прочь из лирики (*англ.*).

И лирике, в прежнем смысле, нет места. Меняется исходная точка мироощущения поэта: *не моя* реакция на мир, но *мир*, которому я удивляюсь, данный мне, моему искусству на раскрытие. Удивляюсь? О, да: он, этот мир, оказался существующим [и... заключающим что-то очень большое, для постижения чего я и приступаю в долгому искусу]. Лирическое мироощущение художником изжито. И сколь очевидно, что та напряженность, какой скручено перо поэта, та эмоциональная насыщенность, какой поют стихи, скрытая, круто сдерживаемая на шенкелях *страстность*, – истекают не из лирики, как мироощущения, ничем не отпечатывают в нас знаком своей мнимо-лирической природы; а неискушенному глазу таковыми казаться они могут. Дантов пламень обжег щеки поэта; но языки пламени брошены *извне*; темп и ритм Мальстрема раскрывается вовне; напряженность судороги обтекает внутреннюю сторону воронки, в которой вечно и навсегда, взметенные и носимые неведомой силой и по формулам неведомым, кружится не мир, но миры, кружимся и мы, рыцари своего «я», в полном облачении турнира с копьем у луки.

И сколь ошибочно считать временным рожденное мироощущение; действенная его сила неиссякаема, ибо истекшие годы лишь иллюстрировали поэту в плане и измерениях микрокосмических (не в микроскопических ли?) то, что бьется скрытым от нас в мирах. Глаза наши раскрыты, и навсегда, ибо магической палочкой пережитое нами пеплом рассыпало

ограду нашего «я», за которой нам было так уютно и так спокойно; «музыку души», прислушиваться к которой мы так любили, навсегда заглушила иная музыка; флейты и скрипки раздавлены деревом и медью, шаловливые piccicato сожжены искрами, слетающими с набухшей кожи, и сколь различных порядков прежняя лирическая вспышка и тот, запаленный извне, подъем, каким поэт вырван из теплого гнезда своей изжитой веры.

Итак: э п и к а ? Нет и нет. Основание такого ответа – в том п о к о е , каким расправлены, ослаблены и отпущены мускулы водящей пером руки эпика. Мы не соглядатаи, не свидетели, не благостные летописцы; сколь ни ничтожны мы, но мы – участники исторического и космического процесса, расплескавшего свои крылья на все пространства; они нагнетают ветра, – отовсюду, – расплавленные элементы таких соединений, которых не умеют и никогда не сумеют назвать наши химики, и эти ветра – по нашим легким, они – наш воздух; миры посылают нам смертельные светы – и мы не слепнем. Только у незрячих в крови не пульсируют молнии, не пробегают по мышцам волшебные токи, не напояет души в е л и к и й п а ф о с . Пафос – как ответный клич наш, как единственный угол поэтического мироприятия. Пафос – узел, скрученный протянутыми в нас из мира нотами; аффектный л а д , в котором созвучит с миром наше художественное сознание, та внутренняя н о р м а сознания, какая не могла не быть принята, и принята навсегда.

Внутренне обязательным на поэте лежит долг художественного постижения раскрытого нашим опытом вне нас протекающего мира, воспринимаемого (отныне и навсегда) со всей той серьезностью священной, какая завещана нам нашими учителями.

Врубель когда-то писал: «Что публика, которую я люблю, более всего желает видеть? – Христа. Я должен его ей дать по мере своих сил и изо всех сил». На поэте лежит долг, данный перифразой этих строк. Принятие его только тому по силам, кто всем существом своим ощутит связь жизненной правды с высоким строем. Чуткие из нас не могут ее не ощутить и не сделать верховным каноном своего мастерства.

Ныне переходная эпоха. Ее переживает и поэт. Высшее, что ему задано вскрыть словом – осенение предлежащего мира волею миродержавных сил. «Я» поэта еще не подлежит художественному раскрытию, если для поэта обязателен императив его художественной совести, ибо для такого раскрытия нет еще у нас опорной точки. Компас истории предуказывает такой опор; предуказал он и то, что к «новой лирике», иной, слишком иной в сравнении с религиозной лирикой, нам знакомой по прошлому, – путь лежит только через художественное воплощение тех необоримых знаков, какие оттиснуты на мире, обернувшемся реальностью, на мире событий, лиц и «действ», – лежащей над ним не нашей волей. Но история любит неожиданности. Не придем мы, быть может, к этой «новой лирике»; и

знаменья могут лгать. Но мы уже приняли мироощущение, раскрывающее нам вдали трудную борьбу, где победным нашим венком – поражение гордого нашего «я» – признание е д и н о й , над миром и над собой, воли.

Творческий путь поэта – охватить новым мироощущением обретенный мир и словом, через слово, раскрыть.

Heroïca – имя нового мироощущения.

Однозвучны с ним и эпитеты памятников художественного слова, по школьной скамье знакомых; тем же эпитетом слишком часто эпитетуется и современная эпоха, равно как и ее напоминающее. Этим лишь именование уже оправдано.

Но в нем для нас (с вербальной только стороны) – больше, чем эпитетами охвачено.

Герой – тот, на ком уже лежит иная воля. Он боролся и побежден. Прежде нас он впал в руки бога живого. Он свершил путь, мы еще влачимся ощупью его следом. Он дерзал и несет расплату. И для маловерных – его судьба правится не им.

Врубель кончает приведенное выше так: «...Отсюда спокойствие, необходимое для направления всех сил на то, чтобы сделать иллюзию Христа наивозможно прекрасно, т. е. на технику».

Эта фраза вяжет «что» и «как».

Примем ее и мастерством своим закрепим право ждать и обрести свершение мечты Новалиса – «новый золотой век с темными бесконечными глазами».

Ноябрь 1921
Харьков

HEROÏCA

стихи

А. В. Кривцовой

Omnes gurgites tui et fluctus tui
super me transierunt.[1]

[1] Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною (*лат.*). – *Ион. 2:4.*

ЧЕТЫРЕ КОНЯ АПОКАЛИПСИСА

Матери

Кто-то, кто-то, – не конь ли, – копыта колет...
Пьяное ржанье решетку рвет,
Токи молний лижут поле,
Агнц восставый бросит в поле
Грозный и грохочущий конский мёт.

Посвистом лука расколот вечер,
Первым в щели – сиянец воин,
Сиянец венчан, – чело увенчано,
И конь бел...

Зверий зык свистел и пел
И пали в щель другие двое:

Всадник и меч, и рыжий конь,
Близки цоки гонких погонь,
Напружен соком, меч иступ.
Подъята – и росчерк брошен,
Многопудна трудная ноша,
О, лбовый, костый стук.

Агнцем знак надломанный сорван,
И третий вкопан – в черном на черном,
Чашу о чашу мечет цепь
И речь залегла среди:
– Меру за меру, динарий за хиникс,

Вина и елея не тронь.
Агнц снова – Поди и приди,
Помните ль, помните все об Отце,
И узкой рукой последнего вынес.

И стал и стыл последний конь.

Язычки тонкие, тонкие
Ловили, лизали ягненка,
Сверлили липко, сверлили,
Лава плыла из лилий,
Вспыхнул и вспух смоловый столб,
В омуты толп
Разбился дождем,
И тупо тело рвал кистенем,
И струи каплями кости щепили.
Свинцовые полосы
Сомкнулись в свистящем горле,
Ожженные в смертном горне
Белые опали волосы,
Опали, одели тело сухое.
Над бледным небом высились двое...

АНГЕЛЫ ОТКРОВЕНИЯ

Ни крот не буравит, ни слепень крылами
Пыль не сечет,
Зябнет в костре под пеплами пламя,
Листом не ползет жучок,

Негласно, немо ярое око
Кровью крытых икон,
Ни дом не скалит рядами окон,
Не лижет льняным лучом.
    И лапа упала и сбила уста...
    Никогда
    Гор не сдвигало, не правило слово,
    Не пело зерно, не тучнела вода,
    На глине не гнули следы.
        У престола
        Ангел восьмый
        Влагу и дым
        В чаше смесил,
        Знаком креста
        Поднял и сверг...
С брегом сопрягся брег,
Двинутый мол
Дрогнул и – гром на дно,
Дуб размахнул и ссел
В золы и яр.
На город – тучи стрел,
Чаны горючих смол,
Жаркой опарой пар –
Олово и вино...
    Инеют зевы труб,
    Втиснули зубы – точеные зубы,
Петел не крикнет – огонь в ночи
Серу, сажу сочит и сочит.
Море, над морем – град,
Палит, в уголь твердеет плод,

Поит и полнит дупло
Моря шабашья игра.
Острые гор хребты
Гривы к водам с высот,
Грузом на мачты – ниц,
Кровью ожженных птиц
Кружит, хрипит
Колесо.
Камень – полынь-звезда
Мигнула, и горечь-сок
Сотни и сотни слов
Перетянул узлом.
Клубнем клубит вода,
Небо потускло – и снова медь
Рушит на стогны плеть...
Щелкнуло в камне крыло ключа,
Кладезь отверзтый и вихрь со дна –
Встала и стлалась сарынь-саранча –
Туча приникла, коньми впряжена,
Виснет броня, как бронь,
Грузно венцы стучат,
Топчет жалом конь,
Конного войска тьма тем,
Дышит из пасти чад,
Груды на грудах тел
Мертвых молчат...
    Вкось – на просторы тверди и вод
    Ангел направил столбы огня.
    Полем небесных ягнят
    Лег на простертый свод

Свиток дымящих строк –
Буди пророк!..

Март 1921
Харьков

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В МОНАСТЫРЕ

Чад чертит у лика рожи –
У лика сына божия…

Хмелят и стучат первые вина,
Первые выпитые.
Восковой инок
Пытая выпытывает…

Пятаки в лико – плашмя:
Стражди за мя.

Слова, – пятаки, – влажат ребра,
Межит узкая мета.
Страшно и недобро
Пьяный сечет металл.

Шар в немытых клочьях, –
Луна, – обежала, и – пятном у ног.
А черный инок
Качается и хохочет.

Октябрь 1918
Харьков

О ЖИВЫХ

Суставом стукнул о плиты;
Гудким гуком чиркнула выпь...

Семилетка в шелковой сыпи
Встала; из фамильного склепа – барон убитый,
Из ямы бескрестой – сухой филосо́ф.
    Топ многопятый глуше...
    О, душный окрик сов,
    Узлом удушенный.

У опушного кедра,
Где мускулы корня тяжат пуды
И недрят
Упитое мясо – там,
Ища по раскосым следам,
Свечу обозначил могильный дым.
        Там
Под желтой свечой качнулась плита,
И пали, простряcь,
Неживые ряды.
Отрок в лоскутной рясе
Зачал и высек истошный,
Источенный гул.
    О живых. О забытых. О брошенных
    Дольним пленам земли.
    Мытарях слова. Внемли
    Освобожденным тобой.
Дробится в кругу –
    Вечный покой:

И вдруг –
Оклик петуший, –
Кликуший...

Декабрь 1918
Харьков

БОНАПАРТ

Где птичий склик и зверий пас,
На петушиных гребнях гор,
В разлоге меж и снежных рытвин –
Еще дымит железная стопа
Поющая. Когда сползли и взрыли склон
Обрекшие на гром и битвы
Тысячи шпор
Адских колонн...
Спущены с тетивы
Молодые орлы,
И вонзили оземь когти лап
Со знамен венецейские львы...
Окрик рожка и конский храп,
По султанам – живая дрожь.
Нет, не молний взвихри палаши –
Тяжем, сталью напруженных сил
По изрытому полю пляши,
Бей наотмашь, кроши, колоси
И коси многозвонкую рожь...
Окрик рожка – и фланги в тыл,

Окрути в расплавленный серп,
На мешке хрящей и костей
Затяни, затяни бечеву
И вздремнувшему льву
К седине вознеси
На победном шесте
Раскрываемых крыл
Изрубцованный герб…
К бирюзовому плену лагун,
Там качают, – легка колыбель, –
Там качают весну и тугу
На тростинке чета голубей, –
Пролегла лихая тропа…
Из рассветной мглы
Разломом глыб
С разлета ветром – в лоб,
Ношу метнул, в небо игру
Запаленный снегами вестник,
И, разжатый, – грохнул груз
Под певучий тропарь
С высоты куполов,
Под колеса марсельской песни…
В жидкую охру, крутой
Отвар смолы, где ветра
Остыли, и плавится солнце на ложе
Задыхающихся песков,
Сквозь бурнусы, гортанный свист, скок
Скакунов пенных и черных
Следом, твердо проложенным,
Тяжкой свинцовой пятой

Ощетинившийся квадрат –
Проползающий жернов, –
Влекомый волей, стянутой в канат,
Втаптывает тела...
До крайней гряды – каменных дев,
Стражей чужих пустот,
Той же рукой круто назад
К мерному шелесту вод...
И на берег – приветный пев,
И толпа вознесла, повлекла
На просторе бережных рук
В пламени чадных плошек,
Ядер дугой,
Звоном колоколов,
Хлябью груди и горл,
Колеями, – легко, далеко
В меченый круг,
В кипень – плещущий город,
Над осиянной ношей
Ратный шатер простерла...
    Настежь затворы песен,
    Светлой хвалой хвалите,
    Правьте звено к звену,
    Тысячерукий витязь
    Сетью стальной взмахнул...
    Так, – по ступеням лестницы, –
    По городам и весям,
    Обожженным в сети,
    В солнца, звезды и месяцы
    Он предносит чело...

О страстно́м, всепобедном пути
Пенит над ним орга́н,
Затканные пчелой, –
Золотыми пятнами пчел
Полосы с плеч к ногам
Обламываются парчой…
Желтые слезки свеч,
Мантий и митр пламень
Заворожили в откосах,
Ниже, – по перьям, – и вспыхнул сноп –
Первосвященника посох,
И у бедра – королевский меч,
А над приделом – скользнула тень
С распластанными крылами,
И на горячий лоб
Медленно лег венец.
    Кровью к закату пенится
    Испепеленный день.
Брошенным раскрытым платом – саваном
Панцирное поле. Кованый снег.
Версты до края, в раздолии санном
Разметавшиеся во сне…

Скрип неусыпный и неумолчный,
Скрип неумолчный осей и полозьев,
В лунных отливах – вечерней поздней
Отхо́дная волчья.

Над опрокинутым комом
Полог – пустыней,
Мялево – заметь заткало.

...А в ладони сухой и синей –
Императора галлов
Холодеющая икона...

1 октября 1921

VITA NUOVA[1]

И солнце двигнется в орбиты лун,
Путями розными прольются Близнецы,
Набухнут тучные сосцы
И брызнут буквы мудрых рун.

У отмелей, береговых откосов,
Свободные лунных узд
Прянут мечи.
Под лезвиями мечных кос
Эхом сплавленных уст
Земля дрогнет и закричит,
И перст изогнутый – гигантский червь
Ляжет по черни, падет на стогны,
Из бетонных коробок исторгнет
Вопль, брошенный солнцу.
И робко
В пеньковую пряжу вплетется
Шелковый волос – молитва поэта.
Сына единого душу,
Бродячую душу,

[1] Новая жизнь (*итал.*).

В отрепья одетую,
Сирую нищенку
Ты умири.
Пощади и прими
Всех непокойных и ищущих.
И медленно сквозь рваное пятно,
Где крик неугасимый тонет,
В обрызганном вином
Хитоне,
Венце бумажных роз
Снидет Христос...

Январь 1918
Харьков

QUO?[1]

Плотно пластался посох,
Плащ опрокинулся косо,
Тесно глыбясь,
Воткнулся в застылую ясь.

У лапы шакала
Шагал и шагал...
Точки свечечек кликали
Повислый костыль,
Незрячими ликами
Неживые искали кресты.

[1] Куда? (*лат.*)

Падал и прядал,
Плавал в песке свисток...
Рядом
Не шел никто.
Парой ниточек
Бóязный вóсклик слипся.
Контур гибкого гипса
Червоточиной выточен.
Кротче и кротче
Оскал хлестала дрожь...
Сыне божий,
Сыне безотчий,
Сыне, куда идешь?

Март 1918
Харьков

РОЛАНД

На сонной плави гнилых болот,
На летней цвели трясин и топей,
В лохматых гребнях всклоченной копоти,
Колыша в ночи оплывы золота,
Играют жала тяжелый копий,
А рог и пенит и кличет в топоте...

А к утру пади влекут и топят.

Не раскатится кремень в слепом разгоне,
Стремя не будит узких излучин,

День загорается… Там, где скручены
Ремни дорог, – дозорят и ждут…
Вступают мимо. Сбились. Мимо вступают кони.
Гортанный, жесткий жгут
Стальное тело ожег,
Пьяный чужой рожок
Стальное тело осек…
В небо кадите о всех
Павших у скал…
Ветр, таимый в праще,
По черепам заскакал.
Клятву мечом на мече
Слушай. Обстал восток
Крепью щита и лат,
Кто это в черном, кто
Метит крестом закат?
Многие сыты, вождь,
Сыто и ржаво копье…
Снижены седла, кони стреножены,
Шлемы у ножен,
По кругу ковши у костров.
Рупор всех ветров
С четырех концов
Эхом дальних рощ
Об одном поет…
Близить к земле лицо,
Ухом в разбеге дорог,
В рытых отломах гор
Целит и крепнет рог…
Конья клюет пята

Луг и проток и яр.
Туда – над грядами пик
Месяц остыл и встал,
Туда... Гортань опоя,
Рог расколол... И ты,
Старый соратник, спи.
Камень и щебень глыб
Крошит, сечет, гранит.
Острые рушь углы,
Шапки тупые крени...

Мречат у врат огни...
Тихо к восходу лечь,
Боже святый,
Храни
Руку и меч.

23 августа 1919
Коктебель

СЛОВО

И гад морских подводный ход.

Оттуда горнего гость
Ворожит ворожьим ладом у виска,
И точит, целит гвоздь...

И клекот орлий, в скалах
Пленный, никнет в череп,
И шорох червий

Струит в отверстый лог,
И мутное стекло
Сыновних глаз, омытый лоб,
И матери двуперстная рука…

А молот рушит у виска,
И снег сочит, и соты каплют мед.
Еще… И стойко ждет
Ударом. Полоснул и сник
Разлет огня. И щелкнул кость…
…А в зеркале – распятый лик
И вбитый в череп гвоздь.

27 января 1919
Харьков

НЕПОКОЙ

Максимилиану Волошину

Листья, песок и пепел перстный
Вдоль по дороге – вдоль и вдаль –
Ветром тугая праща
Гонит, кружит и гонит
Складки обмятого плаща,
Знаки лебяжьи легких сандалий.

Шаг шатается. И влача
Мягкий и тяжелый, крестный
Шаг, – путник по земле влачится.

А там – у лога – воет волчица,
Дрожит и кличет, кличет волчат
И мечется на колья и топор...
Вскипают кони,
Сбивается табун,
Распахивает круть,
И щелкают о землю, как орех,
Горячие черепа.
    Сердцу в тревожной игре
    Только – о, только – уснуть...
А там, где падает небесная тропа,
С разбойных, неуемных гор
Свистит клобук
Соколий, и соколий клюв
Пьет в темени. А по стеклу
Воды – разлатая – плывет и вздрагивает цапля.
По капле каплет – слеза каплет
На камень горючий неумолчно
Года. И пылит и точит
Булыжную сыть.
    В долгие, тихие ночи
    Сердцу – снегом стыть.
У дорожных избочин
Путник идет, подламываясь,
Мимо пади и плавня,
Мимо зыбучего плава,
Туда – где дорога в небо,
Где смыкается синий невод...
И ловит, и ловит небыль
Города. Мышцы мостов

Слабеют в соленом инее,
Шатая быки, а во сне – в ночи
Скрепы хрипят. Пьянеет
  Сердце и тихо, тихо точи́т.
Не прояснел восток –
Жаркий гудок не спит, –
Золотая пыль у копыт,
Свист, словно жук стальной,
В проводах жужжит –
Свист, словно кто хлыстом, –
Льдяный, ссыхающий зной
Эти дома сгрудил,
Черной силой качал,
Темной кропил водой
И рукой палача
На степи ветровой
Этот бешеный город сложил.
Каждый стонет дом,
Каждая клеть и угол,
  Ночь, словно кто хлыстом
  Сердце обуглил.
То ли скрипит паркет?
Мышь ли дышит в петле?
Или в сухом виске
Талая кровь пьяна?
Лист заметает след,
Лист над прудом летит,
А со дна – уходящего дна –
Выплывает набухший рак
И кружит у распятой птицы.

Та же дьявольская игра
По полям и лесам клубится.
На воспаленном пути
Ветер кружит и гонит,
В далеком небе
Пал запалит и сдунет – не был,
И с разбега у корня – ядром.
　　Как холодеют ладони…
　　Сердцу к утру отойти.
Раскачнется падуб
И застонет. Серпами радуг
Заиграет неслышный гром,
А опрокинутый ветер
Снова в рваное небо метит
И оттуда – в хмелю и дыму
Грянул оземь. И падуб набок,
Умирая, поник и лег.
Из расцвечаемых радуг
Нестерпимый и белый шар
Раскатился и изошел
В пепел – мороком – там – в дому.
Долгим стоном ответил лог,
Волчья бедная, злая душа
Распахнулась на лезвее,
Поцелуи безумных пчел –
Капли крови – жаркой смолы –
Вниз со стали – прожгли до кости
Земляную, рыхлую плоть.
А орел на короне скалы,
Припадая к темной змее,

Ищет гибельный, нежный рот.
    Сердцу боли не донести.
    Ей дано до зари расколоть.
А путник идет... И обители
За кованой медью ворот
В строе холодном и строгом
Белые стены встали,
И сердце стынет – дойти ли, дойти ли?
И видит – в бреду или в яви – упали
Ветхие крыши смиренных келий.
И видит – иноки с Богом, – Богом, –
Теологический спор затеяли,
И слышит слова: они жидким оловом
Плещут и задыхаются в непокое:
– Первым – другой – тот – отпавший,
Да, он – есть и нам нужен – *Ты*...
В серном дыму над рясами – головы,
А над ними – плотное и густое
Чадное пламя: про́клятый и проклявший
Правит с головокружительной высоты.
    И падает путник в смертной утоме,
    А мертвое сердце живет и стонет.

Апрель 1924
Москва

В РУКИ БОГА

Бог сущий во веки и днесь...
Лежи и в упор в поднебесье

Следи разъятую длань.
Схвачены кольцами пястья,
Немеют у тела вдоль,
Нет, не яда – смерти желанней
Ясная, влажная боль –
Богу живому впасть.

Март 1919
Харьков

REVOLUTIO MAGNA[1]

Д. Магеровскому

Раскачка, и вскачь по полым полям,
Вскачь.
Лютики, головы бей раба,
Бей в барабан,
У плахи палач,
На плаху, на плаху лечь –
Мячом по ступеням с плеч,
Rataplam-plam-plam
На темя пластом руда,
Кроткое сердце не дышит,
Стопа за стопой, шаткий шаг,
Заступы жгут за ударом удар
Дни и года, дни и года…
А над провалом ответный шаг
Стремит и колышет
Села и города.

1 Великая круговерть (*лат.*).

Черным вскипело вином
Сердце в Тебе и боли...
О доколе, доколе, доколе
Мертвое обречено...
Ощупью тесно ряды –
Сурок из подвалов и ям,
В пальцах сосуд остыл...
Плавьте серпы и кресты,
Выше веди, поводырь, –
Rataplam...
В дольней дымке гробá
Плывут, плывут и плывут –
Узкая нить вдали,
В долине раскрой полки,
Тверже зажим руки
В медной дрожи земли.
Осени
На смертный труд
Раскованного раба...

И встали смутные дни.
Нá конь и ногу через седло
Гикни и вскачь...
Видишь – дома
Ломом сломал,
Ядра – в кирпич и клочья.
То по городу поступь волчья
Строит в глыбы тела,
Это она отмела
К ямам железной метлой...

Вдовий, неслышный плач
Слушай. И видь:
Эй,
Бей
В щели штыком,
Эту дверь шатнем, шатнем...
Эх... Так.
В днище приклад,
Братцы, товарищи – пить...
    А над шапками – красный мак
    И – железная метла.
Тверже ногу. Выше...
Ключ вздохнул и хрустнул.
Нету никого.
Эй, лови по крыше,
Что, легко и грустно?..
На панель его...
Мимо. Спина ко рву,
Хобот вздели стволы,
Краткий бросок головы
И на глине – раструбы ног.
Дай-ка, дай-ка сорву –
Больно хорош сапог.
    Мимо. Ниже пригни,
    Ниже, ниже к луке,
    Навзничь, гони, секи
    Страшные дни,
    Скрученные в руке,
    Выбитые из руки...

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

И проснется спящий
В зимнее белое утро,
Неслышный зов приемля,
Когда жаркая, острая пудра
Замелькает чаще и чаще
И плотно завяжет землю;
Когда никого, никого не отыщет
Негромкий призыв неба –
Из людских несчетных тысяч
Ни один обессмертен не был;
Когда припадающий голос заглушит
Последний живой шорох...
И узрят слепые души –
Богомольцы пустых просторов.
Защелкнет неломкие кольца
Величавый холод,
Ртуть, плывущая от солнца,
Льдяного запястья не расколет;
    И тогда проснется спящий,
Небывшему зову внемля.
...А снег заструится чаще и чаще
И задушит землю.

7 июля 1917
Славянск – Курорт

САВАНАРОЛА

В напруженных мышцах раскачнулись гири
И грохнули оземь...
По ковру живому, по черным розам
Шире и шире
Проползла ящерицей косая тень.
Над ямой, разбитой у ног,
Над рядами сторожких скрещенных тел
Взмыла на легком кресте
Голова встала – иссеченный лоб.
И в металлоплавленный полог
Грянул набат...
    Зерна свергались, дробили дно,
    Вязкие щупальцы искали по углам,
    Сердце объятое
    В небо метала тупая игла.
    Об одном, только одно,
    Вздыблено слово и ниц легло.
    Петли кружили, двоили число,
    Метили мертвым узлом
    Тысячный лов.
А на помосте, сведенный в струну,
Гнал, спотыкая взмыленный лет,
Крепко прибитый к ярму –
    Скошенный рот...

Апрель 1919
Харьков

ВЕЩЕЕ СЛОВО

На гнилом канате в себя спуститься –
В щербатый зев слепого колодца,
Слышать – клекчут бескрылые птицы
И о клювы их, ковкие клювы колоться;
Слушать птичьи тревожные гуды
О цветке искупленья каком-то стеклянном
И зорко видеть – мечутся руды
За дымящим серо-пустым туманом;
Опускаться тряско всё ниже, ниже,
Непощадней колоться о хитрые жала,
И в щелях склизких стоптанных хижин
Слышать зябкие шорохи жалоб;
В перепутанной вязи стозвучного гама
Отличать безритменный жесткий танец,
В ямах, мутно-мигающих ямах
Следить прыжки опившихся пьяниц.
Знать – упругие веки спаяла
Нехмельная, горькая влага.
Опленённые палочкой умного мага,
Фигурки скачут тяжко и вяло.
Пальцы цепкие крючат и крючат,
Обрываясь, вползают на тесные стены,
А глыбы виснут строже и круче,
Замыкая вечные плены.
Хоровод козлиный кружит и длится,
Громоздятся картонные пятнышки мимо,
Вглядеться – чьим-то зажимом
Тонко скошены узкие лица.

Благостно вещее слово.
О напрасном безумье поет голубица…
Сорваться с каната гнилого
И в пыль разбиться.

Ноябрь 1917
Харьков

PAGANINI LUDIT[1]

…а смычок опять:
И слова не те,
И кого распять
На втором кресте?

Шторм точит свои ножи,
Железной перчаткой ласкает борт,
И там – у дымчатой межи
Неслышно строит ряды когорт.
Скоро, скоро, прибьет к мете
Израненный острым хлыстом корвет,
Тогда метнутся груды тел,
Метнутся слепо к слепой корме.
Смычок пиликает пристально-страшен:
Я смирился, припал покорно,
Отец, ты видишь – наш пот окрашен,
Окрашен укусом, укусом терна.
Отец, мы гневом твоим распяты,
Мы в бескрестных распяты корчах,

[1] Паганини играет (*лат.*).

Всё тверже правит наш вождь крылатый,
Смятенные руки ясней и зорче,
Темнеют струпья и зреют стигматы,
И смеется плохо безликий кормчий.

Метко бросил ряды кольчуг,
Взъерошенных сетью стальных клинков,
Тяжелый хруст был сыто-глух,
О, жуток близкий ночной улов...

Май 1917

ПОСЛЕ БОЯ

Опущено или брошено,
Стынет кромешное крошево
В красном квадрате...
Эй, музыканты смерти,
Колокол бьет играть.
Покоя, только покоя.
Долго клевали бубны
Дымом ожженный рот.
Великий и вечный кто-то
Упал на сухие губы
Жестокой, жесткой рукой.
Удар. Раз и два.
Пауза. Метче меть,
Камень. В медный таз.
Медлят. Не та, не та
Зыком качает медь

Снова.
И затараторили вдогонку чет и нечет,
Легче меч и сыпью мечет...
Сабли из ножен на всем скаку...
Трубы, трубы кожу секут.
Крупы огрузли. Вязкий звяк...
Пальцы грызут поенные глины,
Вправляют у копыт на глинах знак,
И клик клубится – хлипкий и длинный...
У стоногого, стылого месива –
У шнура алого
Ищут пристальным ловом,
Ищут бесьего
Страстнóго слова.

Август 1918
Харьков

ВАЛЬСИНГАМ

Оборотнем смерть у края
Плаща вползь ползет к ногам.
Ночь. И в доме пустом
У камина играет
С бессонным псом
Хлыстом
Играет Вальсингам...
Шатнулся перстень,
И меткий страз

Ожег
Стекло зеркал.
Пыльной шерсти
Легкий клок
Упал и лег
У ног.
Еще – и раз –
Тупой оскал
И в сторону прыжок…
Зажат стилет,
Еще
Разгон и щелк –
Расколотый орех.
По шерсти – след –
Вино иль грог?
Игрок
Выщелкивает смех.
Хлыстом жадней,
Острей рука
И крючьями – в ремне.
    А пес не кажет языка,
    А пес на лунном поле плит –
    Скулит…
Трудный подъем хлыста –
Сбитое тело в открытом ящике,
Вечный – ему ли – уют?
В ночи неумолчно у ложа спящего
Ему ли псалмы поют?
Путь последний к соседним крестам
Не ему окадит вожатый

И железный, отзывный знак
Не ему отгремят лопаты,
Он не знает и не узнал
У излома саженной бездны
Горних троп
К омытой звезде...
Пуст и легок сброшенный гроб,
И его не следи нигде, не ищи нигде...
    В левой руке бокал
    Хрустнул. И – Вальсингам,
    Отводя от огня глаз,
    Вытягивает хлыстом
    Стынущий ком –
    Пса из угла...
    Пятен и пятен ток
    Глубже язвит... язвит
    Кожу сухой кипяток.
    Плотно зажав боль,
    Сердцем склещив крик,
    Полосует, и –

    За него отмоли,
    Не поймет – не неволь... –
    Хлыст у руки поник
    И оборотня шевелит.

Февраль 1921

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

Каплями каплет ладан.
Лазарь морщится, высох восково.
Не плачьте – не надо
Крика сестрина – острого.

Камень у входа – сторожий пестун
Отойдет и ляжет никло,
И черной щелью ему – Христу
Глаза выколет.

Гроб сохло сводится,
Скрепы ломкие воют визгливо,
Размыкаются петли мирта и оливы,
И на челе – точками – смертная водица.

Недвижен. Нем. И не встанет.
Следит.
И мышью тычется и крылья о камни ранит.
Лазарь, гряди!..

Июнь 1918
Харьков

СМЕРТЬ ПОЭТА

Над виллой дыбился флаг.
    Плоским стуком, жестянно
    Звякали листья.
У сухого фонтана
    Мефистофель, салонный мистик,
Замедлил пружинный шаг.

    Разбился выстрел...
Шатнулся, щелкнул и пал.
    Горсти горошин
Голодный глотнул провал,
        И встревоженный
Мефистофель свернул небыстро.

    Плавные кудри
Расцветил червленый сок,
Глаз остеклил песок
    И круглился, – тупой и мудрый.
А у длинных, разметанных ног
Карандаш собачьи прилег.
            Сноб
Склонился трагическим мимом,
Затянулся сигарным дымом
    И сбросил пепел на мертвый лоб.

15 декабря 1917
Харьков

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПОСЛУШНИЦА

А. К-ой

...Молитвенно и строго
Ты приняла земную ложь...
Я знаю – ты склонишься у порога
Незримого, светлейшего чертога,
И там себя на жертву обречешь...

...И ждешь покорно и устало
Конца томительного сна...
Но длится безысходное начало,
И глубь души, где радость отзвучала,
Еще загадками темна.

Усмешке отдавая,
Ты бережешь больной испуг.
Глубокой верой благость постигая,
Ты и теперь мерцаешь – неживая...
И близок час, когда замкнется круг.

22 марта 1911
Харьков

* * *

Я вышел в сад, был май, деревья распускали
Над зеленью травы прелестный свой убор,
Цветы своим дыханьем воздух наполняли,
Повсюду щебетал на ветках птичек хор.

Уже пришла весна! Прощай, зима седая!
Прощай!.. Прощай и ты, ненастный небосвод,
Луч солнца на траве, по зелени играя,
Блаженство и любовь нам в душу нашу льет.

Он обещает счастье, радость и свободу,
Он вдохновляет нас на новую борьбу,
Он согревает нас, и тяжкую невзгоду
Мы легче претерпим и не клянем судьбу.

Я сердцем и душой люблю весну младую,
Люблю ее за то, что будит жизнь во мне,
Она прошла... и снова я тоскую,
И снова нахожусь в каком-то полусне.

Март 1911

БЕТХОВЕН

Рояль рыдал, а скрипка чуть смеялась.
В кривой улыбке столько было муки...
А там – вверху, куда летели звуки, –
    Лицо неясно рисовалось.

Рояль рыдал, а скрипка хохотала
В кошмаре диком странного надрыва...
А звуки всё чертили торопливо
    Вверху немого, замершего зала.

Рояль рыдал, а скрипка оборвалась
Протяжным, жутко-неизбывным стоном.
С аккордом этим под лепным плафоном
    Лицо безумца начерталось...

25 октября 1913

* * *

Твои губы греховно-кровавы
И порочно-разнузданен взгляд.
В напоенном бесстыдством отравы –
В нем животные óгни горят.

В нем немолчно кричит вожделенье,
В нем хохочет цинично разгул...

И крови мелодичное пенье
Разрастается в оргийный гул...

В безудержно-вакхической пляске
Ты забыла его – паяца...
. . . .
И кривляется женщина в маске,
И смеется над страстью глупца.

6 ноября 1913

ПОРТРЕТ

Глаза Мадонны, губы Саломеи...
Их уголки порочное змеят, –
Но строгость линий девственной камеи
И снег висков нежнее орхидеи –
    Невинность девичью таят.

...Но миг один – и фавны заскакали,
В извивах губ хохочет гадкий Пан.
И снова миг... и странно-темны стали
Твои глаза, и черточка печали
    Сверкнула кровью пенных ран.

2 декабря 1913

* * *

Взрывая, замутишь ключи.
Питайся ими и молчи.

В моей груди могучих сил кипящие ключи.
Им нужно выход, волю дать. Но – как? О, научи!

Я слышу бурный перепев незримо-алых струй,
Глухую боль от бега их, молю я, – уврачуй!

В изломах нитей огневых прекрасен буйный лёт.
Поток таинственных лучей хохочет и поет.

Больные звенья легких чар неслышно вьет родник,
Но странно-ясен, близок мне его немой язык.

И рвется ввысь, безмерно ввысь, рокочет перелив.
Кипит и хлещет звонких струй причудливый извив.

И каждый нерв с родником играет в унисон,
Порывом творческой мечты он дивно напоен.

Мне тяжело... Я не могу... О, друг мой, помоги!
Искристо-алый водомет рождает вновь круги.

Безмолвно-мощный, стройный гимн
четко льют ключи.
Им нужно выход, волю дать. Но – как? О, научи!

22 января 1914

БЕЛАЯ ПЕСНЯ

Лазурная, светлая явь…
В томительно-радостном, сладком бреду
По горней тропинке я тихо иду.
И слышу: Ты спишь – не лукавь.

Я белую песню творю…
Вознесся спиралью к вершине мой путь,
В извивах его продолжаю тонуть,
Янтарную встретив зарю.

Узорно трепещут слова.
Симфония слез и мучительный яд,
Немая молитва и визги менад
В них слышатся тихо… едва.

Мозаикой звуки взвились,
Легко оторвались от склонов пути…
– Лети, моя белая песня, лети –
Залей лучетканную высь.

Всё выше и дальше – туда,
Туда, где ночуют зигзаги зарниц,
Где блещут они из незримых бойниц,
Где чутко дозорит звезда.

…И эхо рождает гранит.
И рвется прозрачно-лучистая ткань.

И слышу я голос: – проснись и восстань.
  ...А белая песня звенит...

11 февраля 1914

ВЕЧЕРЕЕТ
ГОБЕЛЕН

  Гаснут свирели,
  Тихие трели
Пылью жемчужной колышутся.
  В дымке тумана
  Радостно-странно
Отзвуки чуткие слышатся.
  Пруд застекленный,
  Бор полусонный
Светятся искрами рдяными.
  Листья и травы
  Ясной дубравы
Веют дыханьями пряными.
  Тянут цикады
  Песню услады,
Молкнут напевы свирельные.
  Сумрачны дали,
  В серой вуали
Тонут края запредельные.

6 марта 1914

ЯРКО-КРАСИВЫЕ ВЕСНЫ

Ярко-красивые весны,
Верю я, – скоро придут,
Сумрак мертвящий и косный
Свяжут в пылающий жгут.

Звонко взовьется химера
Гибко-искристой струей.
Всё, что бескрасочно-серо,
Канет в порыв огневой.

Пышно расцветятся песни,
Факелы вспыхнут ясней,
Слаще, цельней и чудесней
Вспенятся радости дней.

Жалкие, пыльные будни
В пурпур и шелк облечем,
Сон из веков непробудный
Взбудим волшебным лучом.

Радуг бесчисленных нити
Нас, воскрешенных, овьют.
Миги несбыточных слитий,
Сбывшись, светло не солгут.

Ярко-красивые весны
Встретив напевным стихом,

Радостный, вкрадчивый, росный
Ладан победно сожжем.

26 марта 1914

* * *

Ты любишь? В замшенную башню уйди,
Где толстые стены тленом пронизаны,
Где сеть мастерит паук под карнизами,
И серая серость, и плесень, и пыль.
Где небыль колдует и умерла быль
И зыблется страх беспричинный в груди.
Войди, распахнувши тяжелую дверь,
И своды разбудишь длинными шумами,
Замкни – и задремлют снова бездумными,
Замкни – и останься с молчаньем своим,
Резцом изва́янный, – застынь недвижим
И радостно-цельно и трепетно верь...
Бесшумно к уснувшей стене припади
И с гимнами слейся, в ней затаенными,
И слейся с неясно-тихими дремами.
Ловя напряженно шептанье тиши,
Ненужную радость в себе затуши.
...Ты любишь? В замшенную башню уйди.

10 августа 1914

ПЕСНЯ ДЕВУШКИ

О, мой князь...
Ты вошел в мою душу шутя и смеясь,
Ты обвил ее тканью весенних лучей
И небрежно шепнул: я ничей.
И небрежно позволил молиться себе,
И склонилась я низко в призывной мольбе...

О, мой князь...
Золотистая бабочка, детски резвясь,
Опалив свои крылышки, скорбно глядит.
Ты сковал мою гордость и стыд...
Захоти – я и волю и душу отдам,
Преклонясь до земли, положу их к ногам.
А сама... опущусь помолиться у ног.
Ты – мой Бог...

11 августа 1914

БЕРИЛЛ

Берилл приносит прекрасные сновидения.

Спи спокойно, моя царица –
Над тобой в изголовье – берилл...
Этой ночью тебе приснится
Тот, кто сердцу пугливому мил.

Спи спокойно, моя царица –
Он еще не имеет лица...
Он один заставит забыться
И один коснется конца.

Спи спокойно, моя царица...
Спи спокойно – чиста и ясна,
И позволь мне у ног склониться,
Не тревожа девичьего сна.

Спи спокойно, моя царица –
Над тобой в изголовье – берилл...
Этой ночью другой приснится,
А не я, кто первым любил.

Январь 1915

МЕНЯЯ БЕЗУСТАННО ЛИЦА

Тускло-черной тенью я отмечен –
Смерть прозрачно в ней таится...
Но, меняя безустанно лица,
Я всегда и весел и беспечен.

Только изредка метаться в круге
Мне и тягостно и больно.
И тогда бездумно и безвольно
Застываю в трепетном испуге.

Сердце радо и почти не радо
Этой жизни странно-бестолковой.
Но, быть может, ждет меня награда
В той – желанной, по-иному новой...

Если бы я мог светло молиться –
Я молился б, созидая веру.
Но, меняя безустанно лица,
Я лишь свято чту свою химеру.

Изредка пугливая зарница –
  Боль моя сверкнет – немая...
Но, любовно-чутко ей внимая,
Я меняю безустанно лица.

20 апреля 1915

* * *

Жизнь – борьба с трольдами
в нашем сердце и мозгу.

Ибсен

Мигающий ночник погас,
Бормочет маятник сонно.
  Прислушайся в полночный час
  К своей душе истомленной.

Заглушен неумолчный гул
В провалах узких излучин.

Устало ты глаза сомкнул, –
Порывом дерзким измучен.

Надуманную скорбь утишь
И слушай, трепетно слушай...
Дремотная, больная тишь
Сошла в распятую душу.

Ни звука? Ты внемли полней
Тому, что чутко хранится...
За окнами немых огней
Легко плывет вереница.

Ты слышишь?.. Напрягись... Молчи...
Победно трольды восстали.
Ты слышишь, как звенят мечи
Суровым холодом стали?

Вздымается дурманный чад –
Сомкнулись терпкие чары.
Мечи, ожесточась, стучат
И тяжко льются удары.

Их множество – бойцов лихих,
Уродцы в латы одеты...
...Всё кончено. Турнир затих
И гимны трольдами спеты.

Молиться во грехе спеши...
Слова рождаются странно,

И ширится на дне души
Карминно-яркая рана.

18 ноября 1915

TON COEUR[1]

В сердце есть Уголок,
Забытый горячечным шумом...
В сердце, всегда угрюмом,
Тихий есть Уголок.

Тусклый, будничный день
Острей нашу злобу отточит.
Волю кует жесточе
Каждый пройденный день.

В жуткой свалке страстей
Никто о пощаде не молит...
Сердце кричит от боли
В горне диких страстей.

Злобу трудно нести,
А чувство полней и огромней?..
Отдых желанный вспомни –
Легче станет нести.

Вечный жив пилигрим
В чаду непрестанных горений.

[1] Твое сердце (*фр.*).

Низко склонив колени,
Помни – ты пилигрим.

Властной силы испей
В бестрепетном, бледном покое...
Ясную радость строя,
Жадно мира испей.

В тайный верь уголок,
Внимая задушенным стонам.
Помни: в сердце сожженном
Светлый есть уголок.

19 августа 1916

РАССВЕТ

Я спал и почти не спал...
Остренький луч пробуравил окно:
В бледной заре растворив полумглу,
Солнце неслышно спустило стрелу.
Слабой улыбкой я принял сигнал –
Звонко смеяться мне не дано.

Мышонок мелькнул в углу.
Чей это хохот пустынно-глухой
В злобном метанье рассыпал зверек?
В мозг, полусдавленный чьей-то рукой,

Кто погружал непрерывно иглу?
Кто мою боль ехидно берег?

2 января 1917
Харьков

ФРАЗЫ

Тяжелые брызги слов
В любви весенне-стыдливой
Полноты не дают испить.
Открывшийся путь не нов:
Мы нижем, нижем пугливо
Стекляшки на длинную нить.

Безрадостный, тусклый звон
И злая правда обмана
Утончили ненужность фраз.
Пленителен смутный сон,
И всё же остро-желанно
Проснуться один только раз.

Не нужно, не нужно слов…
– Но если сладостность дремы
Непосильно тяжка для нас? –
…Немолчен привычный зов
И краски заказанных фраз
Бледны и скучно-знакомы.

8 января 1917
Харьков

* * *

Он чуть не шатался под тройной тяжестью:
своего сердца, весны и ночи.

В. Гюго. Человек, кот<орый> смеется

Он шел как пьяный под тяжкой ношей,
    С глазами, не видящими ночи.
В тоске затеплясь нехорошей,
    Улыбка стала ласковей и кротче.

Улыбка стала монашкой белой,
    Склоненной над зернышками четок.
Но взгляд, где радость отгорела,
    Светлел, как прежде, холоден и четок.

И с каждым пройденным шагом – хрупче
    Дрожала немая аллилуйя,
И блестко скованных созвучий
    Зажгла весна в неслышном поцелуе.

И с каждым шагом – вплавлялась в строфы
    Упругая музыка металла.
Под хруст песка своей Голгофы
    Впервые сердце расцветало.

24 февраля 1917
Харьков

* * *

А. К-ой

Моей души разорванные клочья
Он показал на сухенькой ладони
И тихо прогнусавил: – Этой ночью
Ты отдашься своей мадонне.

Увидев пену траурного крепа,
Что-то пробормотал невнятно…
Я руку протянул неверно-слепо
И обжегся о лунные пятна.

Молоточки застучали глухо.
– Как ядовито гибельное жало…
Звонко прожужжала муха
И, уснув, тяжело упала.

Я молитвенно приник к портрету.
Образы бредовые встали.
– Близкая, прости поэту
И овей его лаской печали.
Отошедшая от нашей доли,
Осиянная близостью Бога,
Ты простишь… Ведь меня неволит…
И стенать мне, я знаю, недолго.
О, сойди с вознесенного трона –
Я согнулся на узком ложе.
Я в кощунстве замолк утомленно,
В надругательствах над волей Божьей.

Я невинный, я невинный отрок
И берегу тебе мои восторги.
Радостью, до боли, острой
Мой пронзительный крик исторгни.
Пригвожденный, я лежу, ликуя,
Знаю: ты низойдешь к паденью,
Знаю и послушно жду я,
Неподвижно-влекомый за тенью.

Пройди беззвучно замкнутостью комнат,
К светлому увлеки пределу,
Зажженное блаженство так огромно,
Непосильно безгрешному телу.
И в час, когда полночный звон нависнет,
Я припаду к девическому лону.
А утром я уйду из этой жизни...
...Осквернил я свою мадонну.

Харьков

СКУКА

Скука долбит, как дятел,
Хнычет о прошедшем дне.
Лимонных, солнечных пятен
Не видно на тусклой стене.

День был мальчишьи светел,
Серенький рассвет сломал,

Шафраном радостно метил
И лица, и сны, и дома.

Много и шумно бегал...
В сумерки устал и лег,
И ждал: закатная нега
Вязала жемчужный платок.

Нежно, как мать, прикрыла
Вязью расписной платка.
И стало скучно-уныло,
И сердце всплакнуло слегка.

Тихо и хмуро вечер,
Словно по ковру, вползал,
Гасил и мысли и речи
Темнеющим пеплом зеркал.

Злая гримаса скуки
Втиснулась сквозь шторы с ним,
Смывая шумы и звуки
Нытьем заглушенно-слепым.

Тронув пружины кресел,
Барски разлеглась в одном.
Тягучий голос завесил
Мельканье за узким окном.

Ноет, долбит и ноет,
Хнычет и опять долбит,

Неся томленье тупое
И слезы забытых обид.

Харьков

РАБЫ

Девушка с губами бледно-алыми –
    Недопетая песня моя...
Ты пьешь мою волю глотками усталыми,
    Мы устали оба – ты и я.

Оба мы бессильны пред загадками,
    Что больные объятья таят.
Бессильны прожечь ароматами сладкими
    Поцелуйный, остро-горький яд.

Каждый день друг другу незнакомые,
    Мы страшимся томящей волшбы.
К далеким, неведомым граням влекомые,
    Мы – рабы, склоненные рабы...

ТЕНИ

    Раннего утра прозрачные тени –
Юности вешней фата белоснежная,
Радостность жизни стихийно-мятежная.
. . . .
    Мертвая зыбь невозвратных мгновений.

Яркого полдня чеканные тени –
Жизнь в зените своей напряженности,
Жизнь горит волшебством многотонности.
Слышатся мощные всплески борений…

В час предвечерний неясные тени –
Чьей-то рукой наша воля раздавлена.
Кем, безымянным, трусливо отравлена
Мысль творца неземных откровений?..
. . . .
Дайте ответ, предзакатные тени…

* * *

Неустанно, напряженно
Мы чего-то ждем.
Странно-тихо, монотонно
День идет за днем.

Чередой плывут недели,
Месяцы, года.
Все мы песни уже спели –
Все и навсегда.

И слова мы все сказали,
Что сказать могли.
Кто-то шепчет в мутной дали:
– Пасынки земли.

Тихо-тихо плачет кто-то –
Мы или не мы?
Всё одна и та же нота
Бьется эхом тьмы.

Однозвучий хороводы
Скучно песню ткут.
Мерным темпом тонут годы
В отблеске минут.

Ждем, любовно расплетая
Пряжу давних снов.
В сердце гаснет нить живая
Полнозвучных слов.

* * *

Первый удар окрасит камни
Не твоей кровью, жаркой и вязкой.
Знаю – изменит рука мне
И страшную быль расскажет сказкой.
Острие робко сердца не тронет:
Должно быть, судьба не крикнет часа.
Личико в смуглой короне
Мягко-слегка зажмет гримаса...
И жалко, нежданно жалко станет
Силы большой, такой ненужной.
Только... меня не обманет
Твой глухой смех, глухой и недужный.

Что-то скользнуло в остром жесте,
Под сухой прядью нити увяли.
Смотрите вы все – своей невесте
Смерть я несу на кинжале.
Новый удар будет метче,
Оголи грудь. Он правильно ляжет.
Ведь темную страсть ничто не лечит,
Узел любви лишь кровь развяжет.

БАНАЛЬНОЕ

Заиграли, запели цветные каменья
На жабо и ермолке красавца Пьеро.
И, почуя знакомый прилив вдохновенья,
Он слегка изогнулся – изящный Пьеро.

Улыбнувшись и томно сгустив свои взгляды,
Он искусно вонзил их наяде в глаза,
И заныла в истоме фигурка наяды,
И молились о счастье большие глаза.

Нашептал он губами, омытыми ало,
Кружевные слова о ее красоте,
И глубоко ей в хрупкую душу запало
Возжигание лести большой красоте.

И в медлительной неге сомкнулись ресницы...
И, лаская, едва долетело: – Пьеро.
. . . .

Во взметнувшемся танце ей видится – снится
Полуясный фантом: – домино и... Пьеро.

АКВАРЕЛИ

Музыка блеклых акварелей,
Где флейты журчат, как соловьи,
И плещется шум золотистой струи...
Такая тихая, слышная еле-еле.
В тонкой беспомощности линий
Легла распыленная тоска, –
Неярко-хрупкая, словно апрельский иней,
В предутренний час она странно легка.
Детски-застенчивые краски
Задумчивы в смутном забытьи...
...А кисть, вознося песнопенья свои,
Щемит элегией о развязке.

ПАН

Горизонт червонный ярко-пышен,
Ленты о́гней вяло иглы мечут,
Медленно иду я, и навстречу
Тянутся приветно купы вишен.
Каждую бороздку нежно моет
Острый луч холодного заката.
По кайме моей аллеи мята
Сонно льет томление немое.

Мерно и уверенно иду я,
Радость предвечернюю лелея,
Властно за собой ведет, колдуя,
Стрельчато-бегущая аллея.
Заклинанья еле-еле слышны –
Рыжий пан бормочет, засыпая,
На кармине остролистной вишни
Гаснет шевелюра золотая.
Пышношерстный, но почти безрогий,
Он сегодня нашалил немало,
И теперь, кривые свесив роги,
Спать улегся тихий и усталый.
В мягком плюше утонули блики,
Бледный луч неслышно воздух режет...
На ветвях проказник огнеликий
Заклинает медленней и реже.

ROMANTICA

Ясным бором тихо и́ду я.
    Мечет полосы зеркальный щит...
На конце тяжелого копья
    Сердце бьется и горит.

Потускнела светлая броня –
    Гуще стал молчальник-бор.
На немых ветвях вокруг меня
    Слышится неслышный разговор.

На распутье четырех дорог
Четко слышу одного из двух:
Голос медленный печально-строг
И по-старческому глух.

... – Наклонись, мой сын, и погляди:
Странно-ярко замерцала медь,
Жуткий знак на панцирной груди
Свежей кровью стал алеть...

Кем-то знаку вещему дано
Терпко-алым следом изойти,
Чьей-то волей твердое звено
В долгий путь сомкнет пути.
. . . .
И у ног принцессы, к склону дня
Завершив искание свое,
Он замедлит мерный ход коня
И, слабея, преклонит копье.

ПОКИНУТОЙ

Вся ты ненавистная, мной не любимая –
Вся ты выпита мной.
С гадкой улыбкой прохожу мимо я
Странной необычной тропой.

Тяжко-испытующе осень мне помнится,
Шелест листьев сухих...

Слышишь ли вздохи, моя любовница,
Слышишь? Он взметнулся и стих...

Замерла в бездумье, моя ты усталая:
Память прошлым шуршит...
Болью мелькнувшего жил немало я –
Горестным восторгом обид.

Девичьи-безвольная, вечная пленница,
Грезой мщенья живи...
Ненависть темная во мне пенится
Отзвуком сгоревшей любви...

ЖЕМЧУГ

Я не люблю тебя... Твой блеск холодно-матовый
Родил в моей душе мистическую дрожь...
Ответа нет... Но ты поймешь, поймешь,
Вонзя в меня свой взгляд отточенно-агатовый.

Я... я боюсь тебя. Незримыми оковами
Ты отягчил мой мозг, безумьем опьяня.
Ты победишь... Мучительно маня,
Ты влил тупую боль мерцаньями свинцовыми.

Тупая боль страшна. Безмерными усильями
Я разрываю круг твоих волшебных сил:
Я обречен... Ты этот круг сузил,
И пала тень на мозг – легла своими крыльями.

Конец настал… Я твой… Тобою напоенные,
    Все мысли и мечты слились в немой кошмар.
    …И сладко мне в кольце жемчужных чар
Отдаться вам во власть – напевы монотонные!

БАЛЛАДА

Где ветер насмерть бил и жег,
Где путь Сатурна в узел скручен
И притаился Козерог,
Чтоб лавой опоясать тучи –
Там в легкий час и неминучий,
Созвездий гроздьями увит,
Не замедляя лёт певучий,
Не остывал аэролит.

И под землей, где свой прыжок
По скатам угольных излучин
Скала готовила, и рог
Вулкана бил в слепые кручи,
Чтобы запеть в песках зыбучих –
Там, в сотни мертвых солнц разбит,
Нездешний странник, гость летучий,
Не остывал аэролит.

И там, где стыл бетонный лог
В ограде медной и колючей,
Где смертный ужас наземь лег,
А груды тел вздымались круче –

В людских сердцах, где Бог замучен,
Слезой сыновнею омыт,
Вонзясь клинком – звездой падучей, –
Не остывал аэролит.

Везде, где боль причастьем учит,
Где дух ветрам земли открыт
И горней музыке созвучен –
Не остывал аэролит.

Рокамболь

<Между 26 и 30 августа 1928
Коктебель>

ПЕРЕВОДЫ

ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ
(1884–1966)

С французского

ОБРАЗ

Твой образ! Он – всё же у меня, он – мой,
Хоть и скользит по лику ночи!
Что мне до волн – пусть его хоронят,
Ты – жив, коль я хочу.

Как в те счастливые, досужные часы
Ты четким станешь, ярким, звучным и великим,
Ты место в мире обретешь – свое
И тень протянешь по земле – густую тень.
И надо ль знать о той судьбе, какая
Стала – там, – как говорят, – твоей...
Нет! Что в ней тому, кого я возношу
Руками сжатыми! Я – создал его – я.

О призрак! Этот красный рот
И эта кровь, и преданность в глазах,
Дыхание, что колышет грудь –
Всё дал тебе – всё это – только я.

О жертва! Забудь о скорлупе,
Обрекшей на смерть в неслыханные штормы;
О, за тебя с волной могу я биться
И победить, и вырвать у забвенья.

Твой образ! Да будет он моим!
Я думать не могу о дне – устанут руки
И, разжимая пальцы помертвевшие, уронят
Его – в бесславное преддверье рая.

ЧАС ЖЕЛАННЫЙ

Когда я слышу – вы часто говорите
О замыслах, законах – выстраданных вами, –
О гибельных и выигранных битвах,
О договорах, что, – предавая, – рвем,
И об усладе – той, какую плоть дает,
И о войне, о нищете ненужной, –
Признаюсь я – мне трудно вам не бросить:
«Идем! Идем со мной!»

Я поведу не в церкви, где всё
Экстаз рождает; я поведу не в парки,
Где так нарушен ход зимы и лета,
Не поведу ни в зал, где на театре слово
Меняет вес и смысл и судьбу,
Ни на пирушки, где обходит чаша,
Ни в те дома, где семьи
Ревниво окопались.

О, только день не будем мы вдыхать
Меланхолический и властный запах улиц
И отвратим наш взор от лика тех,
Кто – наша радость и неупиваемая боль.
Хотите – мы сбросим все доспехи,
Мы в скромные одежды облачимся
И – в путь отправимся, чтоб скоро
Быть отсюда очень далеко.

За мной, за мной! Я вас не поведу
К источникам, чей ропот неизбывен,
А вечность сторожит его;
Привала мы не сделаем в долинах,
Где одиночество священно и легко,
И не пойдем к подножью этих гор –
Их вид – рождает непокой,
А восхожденье поит нас гордыней.

Не говорили ль вы о сроках, о борьбе,
Надеждах и обидах, о стремленьях?
– О, – слова, какие беспорядочно я бросил, –
Скажите, мне, скажите, что они не властны
Над каждым часом этой светлой жизни! –
Тогда – луга, ручьи, холмы покиньте,
Идите вы со мной, пока земля не станет
Нагой и ровной. За мной – в равнины.

Смотрите! Видите – в равнинах вы:
Печальные они и тихие до небоската;
Над головами – встревоженное небо

И только. Цельное – всей массой – оно плывет
Спастись. Вокруг – изгнанник ветер,
Приходит он издалека и вновь уйдет.
Ах! Дано ли вам припасть лицом к земле?
Ах! Дана ли, наконец, вам милость
Жить там час – один лишь –
решительный и горький?

МИРООЩУЩЕНИЕ ЛАННА

В наши дни Евгения Ланна вспоминают разве что благодаря мэтрам отечественной школы прозаического перевода – Корнею Чуковскому, Ивану Кашкину или Норе Галь: их весьма нелестные характеристики способствовали тому, что за супругами Александрой Кривцовой и Евгением Ланном закрепилась репутация переводчиков-буквалистов, полностью нивелировавших очарование произведений Диккенса. Основательно и едва ли заслуженно забыты исторические романы и литературоведческие работы Ланна. Вовсе неизвестно его поэтическое творчество, высоко оцененное Мариной Цветаевой и Максимилианом Волошиным. Неудивительно, что наибольшее внимание Ланну уделяется исследователями жизни и творчества этих двух поэтов. Среди публикаций, так или иначе связанных с Ланном, совершенно особое место занимает его переписка с М. Волошиным, вышедшая отдельным изданием[1]; немало написано и о взаимоотношениях Ланна с сестрами Цветаевыми[2]. Тем не менее многое из того, что касается жизненного и творческого пути Ланна, нуждается в уточнениях и дополнениях. И начать следует с того момента, когда до появления автора «Heroïca» было еще очень далеко.

---

[1] «...Темой моей является Россия»: Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы / Сост. Д. А. Беляев, Г. П. Мельник; предисл. В. С. Баевского. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. Далее – *Переписка* с указанием номера страницы.

[2] *Баевский В. С.* Евгений Ланн в творческой биографии Марины Цветаевой // Марина Цветаева: Эпоха, культура, судьба. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2003; *Он же.* Сёстры Цветаевы и Евгений Ланн // Вестник архивиста. 2004. № 1 (79); *Он же.* Марина, Анастасия, Евгений: Лирическое литературоведение // Под часами. 2006. № 5.

*

Евгений Львович Лозман родился 1 (13) мая 1896 г. в Ростове-на-Дону в семье инженера. О детских годах он писал: «...моя недолгая жизнь резко делится на 2 периода – до Харькова и после него. Периоды эти почти равны: первый – 11 лет, второй – 10. (Из сего будущие мои биографы выведут справедливое заключение, что мне в момент написания настоящего письма 21 год. Чтобы они не сбились все счетом, отмечаю сие открыто.) И первый период целиком связан со Славянском. Начиная с года и до 11 лет (за исключением двух лет) мы каждолетно проводили в Славянске. И всё – игры в разбойников, корабли, крепость (в молодости я был милитаристом), первая душевная драма (да, драма), – т. е. самые сильные воспоминания детства сплетены с этим курортом».[1]

Писать стихи Лозман начал, по-видимому, в харьковской гимназии: самое ранее из сохранившихся датировано мартом 1911 г. В стихотворениях 1911–1917 гг. исследователи отмечают прежде всего влияние А. А. Фета. По окончании гимназии Лозман поступил на юридический факультет Харьковского университета. В 1915 г. в его жизни возникла (пока неизвестно, каким именно образом) курсистка Женского медицинского института Александра Владимировна Кривцова. Вступив с ней в переписку, Лозман пожелал остаться неизвестным: первое его письмо (28 октября 1915 г.)[2] анонимно, адресат ни разу не назван по имени. Связь между этими людьми, имевшая столь экстравагантное начало, продлилась 43 года, вплоть до их почти одновременного трагического ухода.

---

1 Письмо А. В. Кривцовой от 27 июня 1917 года из Славянска // РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Ед. хр 302. Л. 56–56 об.

2 РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Ед. хр. 302. Л. 1 об.

В 1917 г. Лозман получил выпускное свидетельство. Маем того же года датировано самое раннее из стихотворений, составивших «Heroïca». Именно тогда под произведениями Лозмана появилась подпись «Евгений Ланн» – имя, под которым он остался в литературе. В течение трех лет Ланн занимался историей литературы, в 1920 г. сдал государственные экзамены и был оставлен при университете по кафедре истории философии права. В конце ноября 1920 г. он на полгода поехал в Москву, завел много знакомств в театральном и литературном кругах, в том числе с А. Белым и М. Цветаевой, и в конце концов утвердился в намерении перебраться в столицу насовсем: «Я не сомневаюсь, что, осев, я смогу перейти (это наверно) на литературную работу и бросить юриспруд<енцию>; конечно, удастся при создании здесь кооперат<ивных> издательств издать книгу; конечно, и люди здесь есть...»[1] Переезд Кривцовой и Ланна из Харькова в Москву состоялся в 1922 году. Большую помощь им оказал университетский друг Ланна Дмитрий Магеровский (1894–1939), профессор права 1-го МГУ, в 1912–1919 гг. левый эсер, затем коммунист. Ему Ланн посвятил стихотворение «Revolutio magna».

В Москве Ланн, как и предполагал, целиком посвятил себя современной западной литературе, в основном английской и американской, много переводил, в том числе совместно с Кривцовой, редактировал чужие переводы, писал статьи для книг и журналов. В порядке общественной нагрузки был привлечен к работе издательства «Земля и фабрика» по продвижению книг в массы (доклады и чтения на заводах), работал консультантом в Библиотеке иностранной литературы при Главнауке и в литературно-

[1] Письмо к А. В. Кривцовой от 17 мая 1921 г. из Москвы // РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Ед. хр. 302. Л. 99.

художественном отделе ГИЗ'а. С 1922 член Всероссийского Союза Писателей. В 1928–1932 сверхштатный научный сотрудник по литературной секции в Государственной академии художественных наук.

Работы становилось всё больше, на постоянно больного Ланна она действовала изматывающе: «Работы по редактированию навалилось столько, что приходится избегать гостей. Но, увы, это единственная возможность существовать, да и то ненадежная…» (20 ноября 1925 г.)[1]; «<…> я измотался и порядком за эту зиму измучился. Путного я ничего не сделал; редактировал, писал предисловия <…> думаю, что я сильно от всего устал. Я живуч, и это меня пока вывозит, но бывают нехорошие минуты. Словом, я стал “сдавать”» (<Конец апреля> 1926 г.)[2]. Объективные трудности усугублялись субъективными: Ланн не только не желал идти в ногу с набиравшим обороты курсом партии и правительства, но и привносил в свою деятельность некий элемент вызова этому курсу. Показательна в этом отношении история его ухода из издательства «Земля и фабрика»: «<…> мой уход из “Земли и Фаб<рики>”, который кому-то был нужен для “выпрямления линии”, поставил меня в необходимость не проводить свои издат<ельские> планы, а устанавливать связь с отдельными издательствами на основе предложения отдельных книг. <…> Ограничусь посылкой великолепной книги “Праздник” [Вальдо Фрэнка. – *К.Д.*] в переводе Алекс<андры> Влад<имировны>. Эта книга, лучший образец американского экспрессионизма, – моя, так сказать, “лебединая песня” в “З<емле> и Ф<абрике>”. Ею я, конечно, совершенно “согнул линию” и чувствую посему удовлетворение!» (20 ноября 1925 г.)[3]. Еще более вызывающе поступил

[1] Переписка. С. 74.

[2] Переписка. С. 98.

[3] Переписка. С. 74–75.

Ланн с «товарищами по цеху»: «Чем дальше, тем больше я отхожу от современной русской литературы, которую я скандально не знаю, зная критику о ней англичан. Я даже напечатал статью в “Нов<ом> мире” об англо-американской критике современной нашей литературы, увы, почти ничего не зная о последней, – правда, без комментариев: на это у меня хватило... такта» (4 июня 1928 г.)[1]. Последствия такого поведения хорошо предсказуемы: «<...> “приятелей” у меня тьма; многим мое имя мозолит глаза – мозолит тем более, что я держусь весьма в стороне от разных организаций. В связи с этими “приятелями” последнее время прошло в неприятностях» (22 января 1927 г.)[2].

В 1930-е гг. подобный нонконформизм пресекался весьма и весьма жестко, поэтому литературоведческая деятельность Ланна постепенно сошла на нет. Наиболее значительные его работы в этой области – «Писательская судьба Максимилиана Волошина» (1926), «Литературная мистификация» (1930), «Диккенс» (1946). В конце 1930-х – начале 1940-х Ланн выступил в жанре исторического романа: «Гвардия Мак Кумгала» (1938) в 1951 г. даже была переиздана, попытки переиздать «Старую Англию» (1943), равно как и «Диккенса», в 1952 г. встретили решительное противодействие – ту самую «линию» в этих произведениях сочли безнадежно «согнутой».

Таким образом, с начала 1930-х до конца жизни Ланн занимался почти исключительно переводом и редактурой. Подробности его жизни в этот период пока не изучены, но вряд ли мы ошибемся, предположив, что жизнь супругов А. Кривцовой и Е. Ланна не была богата событиями. Думается, такая бессобытийная жизнь с ее монотонной работой неизбежно должна была прийти к тому, что в писательских

---

[1] Переписка. С. 114.

[2] Переписка. С. 110.

кругах получило название «выход Ланна» – самоубийство как единственный выход из сложившегося положения.

В 1958 году Ланн, страдавший хронической болезнью, и Кривцова, которой диагностировали рак, решили отравиться морфием. Кривцова умерла 29 октября; рака у нее при вскрытии не обнаружили. Ланн выжил, поскольку его организм привык к морфию, и в тяжелом состоянии попал в институт Склифосовского, где признался, что отравил жену. На Ланна было заведено уголовное дело, но 2 ноября он умер.

*

Как уже было сказано, самое раннее из стихотворений, составивших «Heroïca», датировано маем 1917 г. (“Paganini ludit”). С этого момента начинается становление Ланна как самобытного поэта. Через год он сделает такое признание:

> <...> Я думал очень остро и очень мучительно, весь снедаемый ненарочитым пламенем, о том, что, в последнем счете, моя «жизнь» и «стихи» мои должны исключить друг друга. Entweder – oder.[1] Тебя удивит такое мое заключение после заявления о моем окончательном мнении по сему поводу. Дело обстоит очень просто. Я и раньше говорил тебе, что чую много рифов в плаванье своем, но искусно их обхожу, т. е. обманываю самого себя (не более, не менее). Закрывал же я глаза на следующее: если ни одну из двух половин моего «бытия» не считать более важной – такое математическое деление практически совершенно неосуществимо: я слишком хорошо

[1] Или – или (*нем.*).

> знаю, что большинство §§ моей жизни, программы в полной мере исключает стихи мои, ибо воплощение их требует много, слишком много нервов; на долгое время я делаюсь творчески импотентным; я чувствую себя худосочным и малокровным. И всё сие после реализации.
>
> Естественно, след<овательно>, что равновесия быть не может (я не упоминаю и отношения к жизни своей: тогда к<а>к «стихи» требуют бережливого к ней отношения, жизнь слишком мало заботится о моем длительном пребывании на земле; я не упоминаю и многого другого, о чем скажу при встрече). И нужно выбрать – что поставить во главу угла, но поставить так, чтобы второе явилось бы кратким «отдыхом», именно отдыхом, но не второй ипостасью моего бытия.
>
> Я думал и поставил снова, к<а>к и много раньше, во главу угла «стихи». Я рад, что я вернулся к тому, во что верил раньше; такой возврат, мне кажется, говорит о том, что это «мое», а недавний, слишком недавний пламень мой – нехороший; он от дьявола.
>
> Я свяжу себя большой дисциплиной; я знаю, что я отравлен уже своей «жизнью». Я буду бороться с тем, что делало и делает меня таким ненасытным к жизни.[1]

К октябрю 1921 г. появились остальные стихотворения «Heroïca», а в ноябре того же года Ланн окончательно сформулировал положения своей поэтики в докладе «Heroïca (Мироощущение поэта)», прочитанном как минимум дважды – 19 ноября 1921 г. в Научно-филологическом обще-

[1] Письмо к А. В. Кривцовой от 23 июля 1918 г. // РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Ед. хр. 302. Л. 71 об. – 73.

стве при Харьковском институте народного образования и 24 июля 1922 г. во Всероссийском Союзе Писателей в Москве.

«Моя поэтика? Думаю, что краткое, в паре строк, ее изложение может ввести Вас в заблуждение. Вкратце, – я прочно утвердился на принципе “эстетики содержания”. Нимало не отказываясь от своих формальных исканий <...>, я считаю основным и самым важным для поэта делом – отказавшись от прельстительных лирических методов, уловить героический пульс объективного мира и, в частности, нашей эпохи. Потому меня и волнуют Ваши стихи – прежние и присланные» (30 марта 1923 г., Москва)[1]. Эта краткая характеристика обращена к Максимилиану Волошину. Именно его Ланн считал наиболее близким себе из современных поэтов, о чем писал прямо в связи со своим докладом: «За время Вашего отсутствия я вполне осмыслил Вашу установку стиха и у меня возник целый ряд вопросов, какие мне бы хотелось разрешить лишь с Вами. Думаю, что Вы уже нашли досуг пробежать “Мироощущение поэта”. Скрещение его с Вашими путями мне заметней, чем кому-либо другому. И из всех поэтов русских с Вами, дорогой Максимилиан Александрович, должен я поговорить» (20 июня 1924 г., Феодосия)[2]. И относительно своих формальных исканий Ланн мог бы с уверенностью повторить слова Волошина, сказанные о цикле «Путями Каина»: «Я жалею, что в настоящее время книгопечатанье можно считать вновь восстановленным в России, т<ак> к<ак> этим мы лишимся интереснейшего стилистического опыта – постепенного и всеобщего перехода на сжатую ритмическую речь как единственный дозволенный способ закрепления каких бы то ни было своих идей и мыслей. “ПУТЯМИ КАИНА” – мой цикл о материальной

---

[1] Переписка. С. 34–35.

[2] Переписка. С. 35.

культуре – задуман и выполняется именно в этом порядке: мне хочется в афористической форме закрепить целый ряд своих социальных, и общественных, и исторических соображений, которые я связываю вольным ритмом» (7 марта 1923 г., Коктебель)[1].

В 1924 г. состав “Heroïca” пополнился посвященным Волошину стихотворением «Непокой». На этом, строго говоря, поэт Евгений Ланн кончился: стихотворений, отвечающих положениям «Мироощущения поэта», более не возникало, да и вообще становилось не до стихов: «Трудно работать в психологической сутолоке Москвы. Всё время вожусь с иностр<анными> книгами, сдал альманах “Новинки Запада” и целый ряд других книг. Редактура и всяческие скучнейшие разговоры по изд<ательст>вам отнимают много времени. <...> Восемь лет я не писал стихов о любви. Задумал и начал одно стихотворение (большое) и... кажется, сорвался. Получается не то, что я хочу. Это меня достаточно мучит, но я чувствую, что совсем, совсем не то. И я начинаю думать: не мудрее ли отказаться от попытки, ибо, в сущности, даже если бы она удалась, Amor осталось бы только экспериментом» (22 декабря 1924 г.)[2]. Через три года мало что изменилось: «Писал статьи по иностр<анной> литературе <...>, редактировал, сам перевел две книги (одна вышла, другая выйдет) – словом, вертелся вокруг литературы. Знаю, что всё это – дело не мое, но стихов писать не хочу и, значит, пока не могу» (6 ноября 1927 г.)[3]. Всё же Ланн возвращался к поэзии, например в связи с работой над русскими переводами Джозефа Конрада: «Памяти Конрада пишу одну вещь. Волнуюсь, когда о ней думаю. Знаю одно: она будет куда сложней “Непокоя”.

[1] Переписка. С. 33.
[2] Переписка. С. 47–48.
[3] Переписка. С. 113.

И тема та же – обреченность. Это единственная тема (с моей точки зрения!), о которой нужно писать» (9 февраля 1925 г.)[1]. Было ли написано стихотворение памяти Конрада, остается неясным. Также неизвестна судьба не раз упоминаемого в письмах к Волошину большого стихотворения «Летучий Голландец»: начатое как минимум в первой половине 1925 г., оно, судя по всему, так и не было завершено. Последнее упоминание о нем сопровождается безжалостным резюме: «Спазматически берусь продолжать “Летучего Голландца” и бросаю, затем снова берусь и снова бросаю. Вот одна из строф:

Быть может, сместились пути планет,
Или су́дьбы студили раскал,
Но рано в ознобе сгорать луне,
Но затишь еще далека.

Не ко времени я и не ко двору к<а>к поэт. <...> Ну что ж, нужно заскрипеть зубами и заняться западной литературой. Во всяком случае, не нужно проявлять сожаления по поводу» (4 июня 1928 г.)[2].

*

Первая же попытка издать «Heroïca» потерпела неудачу: «“Общественный инстинкт” вытолкнул меня из Харькова в Москву, где, мнилось мне, пришла моя пора выступить книгой. И сразу – осечка. Предварительно, перед стихами, я хотел выпустить брошюру, одноименную с книгой стихов («Heroïca»). Был издатель. Цензура рассудила иначе и брошюру не пропустила. И ныне больше

---

1 Переписка. С. 54.
2 Переписка. С. 115.

чем уверен, да и многие сие говорят, что книжку стихов не стоит сейчас в цензуру давать, – не пропустит» (20 ноября 1922 г., Москва)[1]. Доклад «Heroïca» (Мироощущение поэта)» действительно готовился к изданию отдельной брошюрой: на авторской машинописи штамп издательства с датой «5/VIII 22 г.».

Следующая попытка относится к концу 1924 г.: в письме от 15 сентября Ланн упоминает «письмо» к «Heroïca», по получении которого намерен начать хлопоты об издании.[2] Речь идет о предисловии Волошина к «Heroïca», написанном по просьбе Ланна. Посылая его, Волошин писал: «Трудную же Вы мне задали задачу с предисловием к Вашей книге. Трудность ее – тактическая, т<а>к к<а>к книга сама по себе значительна, стильна и предисловие не должно нарушать ее цельности. На мой взгляд: к чему предисловие для такой книги? Но я исполнил свое обещание. Я сделал его в виде письма к Вам. Да оно таково и есть по существу, разве что только более проработано и сжато. Как таковое его и примите, и в том случае, если Вы не найдете в нем того "предисловия", о котором Вы мечтали для своей книги, то сохраните его просто в связке старых писем, как знак моей симпатии к Вашей книге. Одним словом, я нисколько не буду обижен, если оно в печати не появится» (21 декабря 1924 г., <Коктебель>)[3].

Наконец, последняя попытка была предпринята в издательстве «Узел». Согласие на издание за счет автора и на правах рукописи было дано директором издательства С. Парнок 14 февраля 1928 г.; документ подписан также М. Зенкевичем и П. Антокольским.[4]

---

[1] Переписка. С. 30–31.
[2] Переписка. С. 39.
[3] Переписка. С. 41.
[4] РГАЛИ. Ф. 2210. Ед. хр. 347.

«Heroïca» так и осталась неизданной. Из всех ее стихотворений было опубликовано лишь два.[1]

*

В основу настоящего издания положен единственный авторский сборник стихотворений «Heroïca». Текст его печатается по авторизованной машинописи, хранящей в фонде М. А. Волошина в Рукописном отделе Института русской литературы РАН (РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1469). В фонде Ланна в Доме-музее М. Цветаевой (ДМЦ) хранится машинопись более позднего варианта сборника: титульный лист отсутствует, стихотворения расположены в иной последовательности. Можно с большой долей уверенности предположить, что именно этот вариант предназначался для издательства «Узел» в 1928 г. и отражает последнюю авторскую волю. Предпочтение в настоящем издании более раннего варианта обусловлено несколькими факторами: во-первых, именно по нему М. Волошин составил свое впечатление о сборнике, легшее в основу его письма-предисловия; во-вторых, отсутствие в позднем варианте стихотворения «Бонапарт», а также немногочисленные случаи авторской правки, сводящиеся к нивелировке наиболее ярких религиозных оттенков, – явная дань ужесточавшейся цензуре. Тем не менее поздний вариант, а также автографы отдельных стихотворений, хранящиеся в фондах Ланна в РГАЛИ и ДМЦ, позволили исправить ряд погрешностей в основном тексте, упорядочить пунктуацию и, наконец, датировать большинство стихотворений.

Стихотворения 1911–1917 гг., не вошедшие в «Heroïca», печатаются по автографам, хранящимся в фонде Ланна в

[1] Вальсингам // Новые стихи. Сб. 1. М.: Всероссийский союз поэтов, 1926. С. 31–34; Саванарола // Новые стихи. Сб. 2. М.: Всероссийский союз поэтов, 1927. С. 44–45.

ДМЦ. Этот раздел завершается наиболее поздним из известных стихотворений Ланна, написанным под девизом «Рокамболь» на проходившем в коктебельском Доме поэта «Турнире французских баллад».[1] «Баллада» печатается по автографу (РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Ед. хр. 135. Л. 1).

Из немногочисленных поэтических переводов Ланна представлены два стихотворения Жоржа Дюамеля. Об этой работе Ланн писал Волошину: «Главлит принес мне сюрприз: сборник западных новинок,[2] который я делал, возвратился урезанным; между прочим подверглось исключению одно из двух стихотв<орений> Дюамеля, мною переведенных. Другое тоже размечено красным карандашом» (15 сентября 1924 г., Москва)[3]. Оба стихотворения печатаются по авторизованным машинописям (РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Ед. хр. 135. Л. 4–6), стихотворение «Образ» – впервые.

Доклад «Heroïca (Мироощущение поэта)» печатается по авторизованной машинописи (РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 14–45) с датировкой и уточнениями по автографу (Там же. Л. 2–13 об.). Письмо-предисловие к «Heroïca» М. Волошина, приложенное к письму Волошина к Ланну от 21 декабря 1924 г., печатается по: Переписка. С. 42–46.

К. Добромильский

---

[1] Подробнее см. в статье В. Купченко «Турниры поэтов в Коктебеле» (Литературная учеба. 1988. № 4. С. 165–169). На момент написания статьи из восьми конкурсных баллад оставались неатрибутированными тексты, подписанные девизами «Рокамболь» и «Сердцекамень»: не было известно, какой из них принадлежал Ланну, а какой – Л. Е. Остроумову.

[2] Новинки Запада: Альм. / Под ред. Е. Ланна. М.; Л.: Земля и фабрика, 1925. № 1.

[3] Переписка. С. 38.

СОДЕРЖАНИЕ

HEROÏCA
СТИХИ

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПЕРЕВОДЫ

ЖОРЖ ДЮАМЕЛЬ
(1884–1966)
С французского

Ланн Е.Л.

Л22 Heroïca: Стихотворения. – М.: Водолей, 2010. – 128 с. (Малый Серебряный век).

ISBN 978–5–91763–047–2

Евгений Ланн (1896–1958) – самобытный поэт, проницательный литературовед, незаурядная личность, чье дарование было высоко оценено М. Волошиным, М. Цветаевой и многими другими. Ныне вспоминают разве что переводы Ланна – и едва ли заслуженно приводят их в качестве примера крайнего буквализма. В настоящее издание вошли единственный сборник стихотворений Ланна «Heroïca», не изданный при жизни автора, стихотворения разных лет, не вошедшие в «Heroïca», и поэтические переводы.

ББК 84Р7-5

Ланн (Лозман) Евгений Львович

Heroïca

Стихотворения

Литературно-художественное издание

Технический редактор *А. Ильина*

Корректор *Н. Федотова*

Подписано в печать 10.08.10. Формат 60х90/32

Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль. Печать офсетная.

Печ. л. 4. Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство «Водолей»

127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23

E-mail: info@vodoleybooks.ru

Официальный сайт: http//www.vodoleybooks.ru

Отпечатано в ЗАО «Гриф и К», г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а



В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Ещин Л. Е. Собрание стихотворений. 2005. – 80 с.

Участник Первой мировой и Гражданской войн, офицер армии А. В. Колчака Леонид Ещин (1897-1930) сочинял стихи в условиях Ледового похода – отступления к Приморью. Записал и издал он их лишь в 1921 году во Владивостоке («Стихи таежного похода»). Позднее Ещин жил в Харбине, где и погиб в нищете, оставив распыленные в периодике стихи и небольшой рукописный архив. В книгу вошли все выявленные стихотворения поэта.

Эйснер А. В. Человек начинается с горя: Стихотворения разных лет. 2005. – 72 с.

В книгу вошли практически все сохранившиеся оригинальные стихотворения и избранные переводы Алексея Эйснера (1905-1984) – поэта, никогда не издавшего поэтической книги, друга Цветаевой и Эренбурга, участника Гражданской войны в Испании и узника сталинских концлагерей.

Книга выходит к столетию со дня рождения поэта.



В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Дураков А. П. Один из солнечных лучей: Собрание стихотворений. 2005. – 80 с.

Первый сборник стихотворений Алексея Петровича Дуракова (1898–1944), одаренного поэта русской Сербии, выходит в свет спустя более 60 лет после трагической гибели автора. Книга практически полностью представляет сохранившееся поэтическое наследие Дуракова, дополненное переводами из классиков сербской и словенской поэзии.

Манухина Н. Л. Смерти неподвластна лишь любовь: Стихотворения. 2006. – 80 с.

Н. Л. Манухину (1893–1980, псевдоним – по первому мужу) при советской власти травили всю жизнь; рецензии на единственный сборник «Не то...», изданный в захолустном Кашине (1920), были убийственны: «Ей, <...> очень не по себе в нашей варварской стране».

Собрание стихотворений Н. Манухиной выходит впервые и приурочено к пятидесятилетию со дня смерти ее мужа – поэта, переводчика, филолога Г. Шенгели.



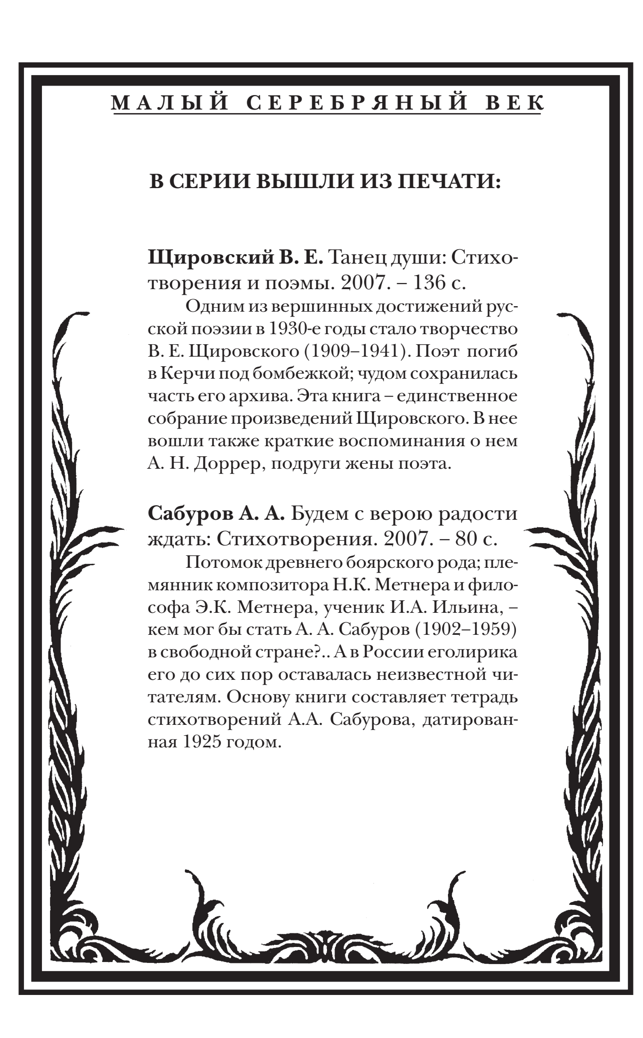
В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Эйгес Е. Р. Тихий шелест стихов: Стихотворения. 2006. – 80 с.

Имя Екатерины Эйгес (1890–1961) почти неизвестно даже среди историков русской поэзии начала XX века. Ее помнят разве что как верную и ни на что не претендовавшую подругу Сергея Есенина. Между тем ее стихи появлялись в печати в 1910–1913 гг., писала она и позже. Наследие Эйгес невелико, но должно быть сохранено для ценителей русской поэзии Серебряного века. Эту задачу и призвано выполнить настоящее издание.

Кржижановский С. Д. Книжная душа: Стихотворения разных лет. 2007. – 88 с.

Из всех литературных открытий постсоветской эпохи явление С. Д. Кржижановского (1886–1950) из полного небытия было самым ошеломительным. Поэтическое наследие писателя не вошло в собрание его сочинений. Книгу составили стихи, которые Кржижановский еще в 1910-е годы печатал в киевских газетах и потом всю жизнь изредка записывал на полях прозы, а также поэтические переводы.



В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Щировский В. Е. Танец души: Стихотворения и поэмы. 2007. – 136 с.

Одним из вершинных достижений русской поэзии в 1930-е годы стало творчество В. Е. Щировского (1909–1941). Поэт погиб в Керчи под бомбежкой; чудом сохранилась часть его архива. Эта книга – единственное собрание произведений Щировского. В нее вошли также краткие воспоминания о нем А. Н. Доррер, подруги жены поэта.

Сабуров А. А. Будем с верою радости ждать: Стихотворения. 2007. – 80 с.

Потомок древнего боярского рода; племянник композитора Н.К. Метнера и философа Э.К. Метнера, ученик И.А. Ильина, – кем мог бы стать А. А. Сабуров (1902–1959) в свободной стране?.. А в России еголирика его до сих пор оставалась неизвестной читателям. Основу книги составляет тетрадь стихотворений А.А. Сабурова, датированная 1925 годом.



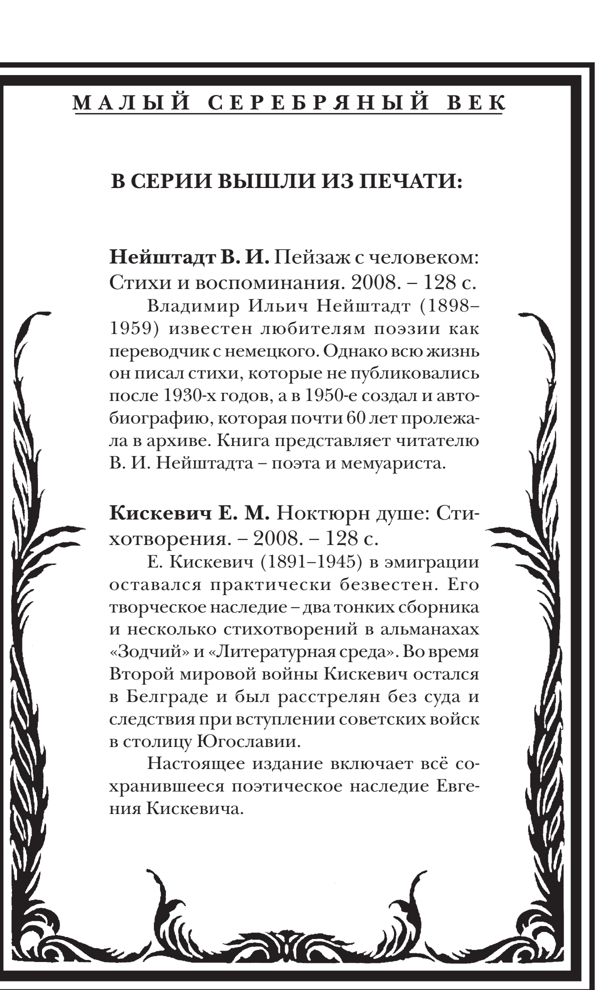
В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Штих А. Л. Истлевших лет живые сны: Избранные стихотворения. 2008. – 128 с.

А. Штих (1890–1962) если и известен любителям поэзии, то только по биографиям Б. Пастернака в качестве друга его юности и адресата многочисленных писем. Единственная его книга, изданная в 1916 г., сегодня сохранилась в единичных экземплярах. Настоящее издание дает возможность познакомиться с творчеством поэта достаточно самобытного, но так и не узнавшего прижизненной известности.

Скрябин А. Н. Поэма экстаза. 2008. – 128 с.

Бурный талант А. Н. Скрябина (1872–1915) был на удивление многогранен и синтетичен. Есть в его творческом наследии и стихи. Лучшие из них, вместе с сонетами В. Брюсова, Вяч. Иванова и К. Бальмонта, посвящёнными безвременной смерти гениального композитора, способны прояснить феномен творца-подвижника, Прометея, попытавшегося волшебной силой искусства преобразить мир, пусть даже и ценой собственной гибели.



В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Нейштадт В. И. Пейзаж с человеком: Стихи и воспоминания. 2008. – 128 с.

Владимир Ильич Нейштадт (1898–1959) известен любителям поэзии как переводчик с немецкого. Однако всю жизнь он писал стихи, которые не публиковались после 1930-х годов, а в 1950-е создал и автобиографию, которая почти 60 лет пролежала в архиве. Книга представляет читателю В. И. Нейштадта – поэта и мемуариста.

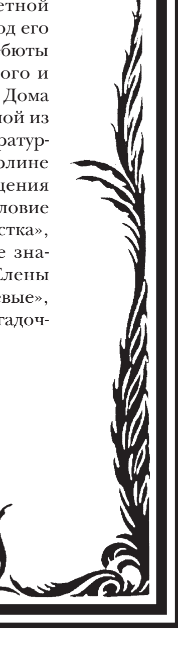
Кискевич Е. М. Ноктюрн душе: Стихотворения. – 2008. – 128 с.

Е. Кискевич (1891–1945) в эмиграции оставался практически безвестен. Его творческое наследие – два тонких сборника и несколько стихотворений в альманахах «Зодчий» и «Литературная среда». Во время Второй мировой войны Кискевич остался в Белграде и был расстрелян без суда и следствия при вступлении советских войск в столицу Югославии.

Настоящее издание включает всё сохранившееся поэтическое наследие Евгения Кискевича.

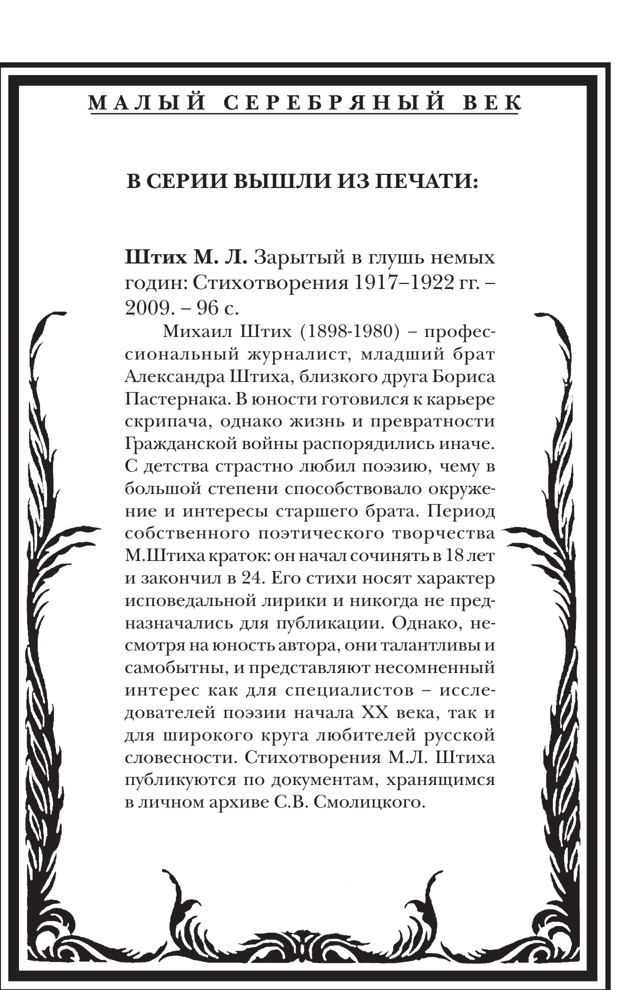


В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:



Феррари Е. К. Эрифилли. – 2009. – 80 с.

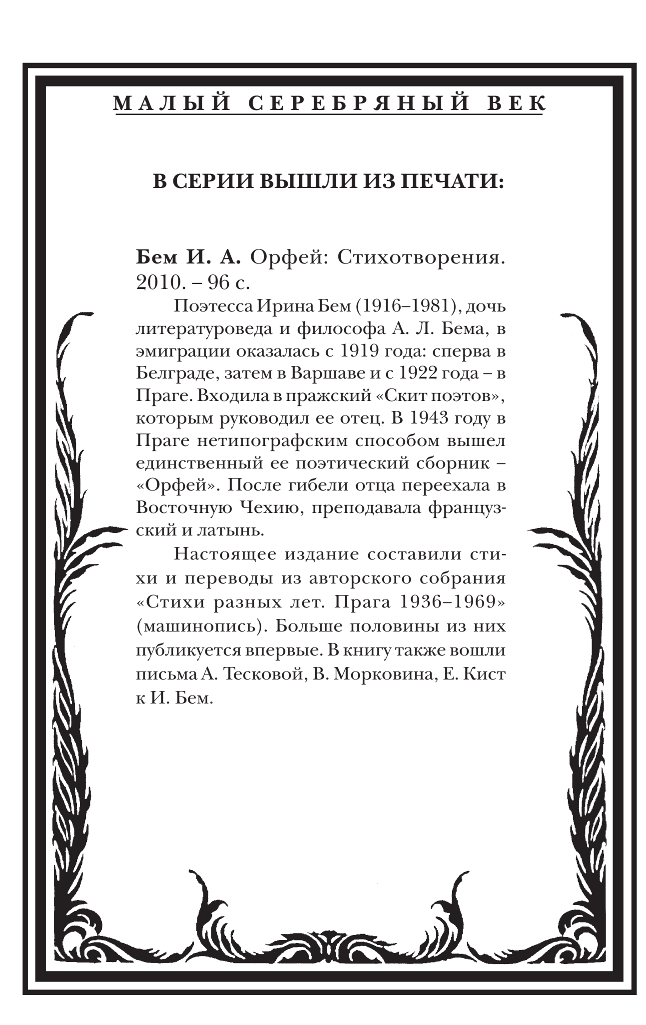
Елена Феррари (О. Ф. Голубовская, 1889-1938), выступившая в 1923 году с воспроизводимым здесь поэтическим сборником «Эрифилли», была заметной фигурой «русского Берлина» в период его бурного расцвета. Ее литературные дебюты вызвали горячий интерес М. Горького и В. Шкловского. Участие в собраниях Дома Искусств сделало Елену Феррари одной из самых активных фигур русской литературной и художественной жизни в Берлине накануне ее неожиданного возвращения в советскую Россию в 1923 г. Послесловие Л. С. Флейшмана «Поэтесса-террористка», раскрывая историко-литературное значение поэтической деятельности Елены Феррари, бросает свет также на «теневые», малоизвестные обстоятельства ее загадочной биографии.



В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Штих М. Л. Зарытый в глушь немых годин: Стихотворения 1917–1922 гг. – 2009. – 96 с.

Михаил Штих (1898-1980) – профессиональный журналист, младший брат Александра Штиха, близкого друга Бориса Пастернака. В юности готовился к карьере скрипача, однако жизнь и превратности Гражданской войны распорядились иначе. С детства страстно любил поэзию, чему в большой степени способствовало окружение и интересы старшего брата. Период собственного поэтического творчества М.Штиха краток: он начал сочинять в 18 лет и закончил в 24. Его стихи носят характер исповедальной лирики и никогда не предназначались для публикации. Однако, несмотря на юность автора, они талантливы и самобытны, и представляют несомненный интерес как для специалистов – исследователей поэзии начала XX века, так и для широкого круга любителей русской словесности. Стихотворения М.Л. Штиха публикуются по документам, хранящимся в личном архиве С.В. Смолицкого.



В СЕРИИ ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Бем И. А. Орфей: Стихотворения. 2010. – 96 с.

Поэтесса Ирина Бем (1916–1981), дочь литературоведа и философа А. Л. Бема, в эмиграции оказалась с 1919 года: сперва в Белграде, затем в Варшаве и с 1922 года – в Праге. Входила в пражский «Скит поэтов», которым руководил ее отец. В 1943 году в Праге нетипографским способом вышел единственный ее поэтический сборник – «Орфей». После гибели отца переехала в Восточную Чехию, преподавала французский и латынь.

Настоящее издание составили стихи и переводы из авторского собрания «Стихи разных лет. Прага 1936–1969» (машинопись). Больше половины из них публикуется впервые. В книгу также вошли письма А. Тесковой, В. Морковина, Е. Кист к И. Бем.

Книги серии «Малый Серебряный век»
издательства «Водолей»
можно приобрести в следующих магазинах Москвы: